

НОВОСЕЛЫЕ

4-5

НЬЮ-ИОРК

1 9 4 3

НОВОСЕЛЬЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

№ 4-5 (2-ой год издания)

АВГУСТ 1943

Ю. САЗОНОВА

ЛЕТО В СИБИРИ

ПРИЕЗД В ИРКУТСК

Мария Ивановна славала комнату за сорок рублей в месяц, с пансионом. Домик был маленький, одноэтажный, с садиком и чистым двориком, по которому одиноко разгуливал гусак и где-то в глубине толпились куры. Комната была большая, солнечная, окном в палисадник, на улицу. А позади комнаты, в темной прихожей, на длинном высоком сундуке спала служанка, и это было удобно: во всякое время можно позвать, ежели что нужно.

Мария Ивановна была вдовою доктора и очень ценила свою образованность: в детстве учителем ее был политический ссыльный, ученый, дававший в Иркутске уроки. — «Мы, сибиряки, потому и образованнее других, что к нам лучших людей посылают просвещение распространять», — говорила она. И на видном месте в гостиной всегда лежала свежая книга «Вестника Европы»: «мы с мужем сорок лет подписчики».

Комната сдавалась, потому что муж умер. Хотя Марья Ивановна средства имела хорошие и не нуждалась, она была

Н о в о с е л ь е

хозяйственной и считала, что комната пустовать не должна: нынче все сдают. Не успели наклеить белые билетки на окно и вывесить у калитки над звонком большой, старательно выписанный плакат «Сдается солнечная комната», как на другой же день под'ехал извозчик, звякнул колокольчик и появилась с саквояжем в руках девушка с усталым лицом.

— Я только что со станции. Десять дней в пути.

— Десять?

— Да, из Петербурга.

— Выслали? Студентка? — Марья Ивановна оживилась. Она читала о студенческих беспорядках и ждала интересных рассказов от участницы.

— Нет, я сама приехала, по доброй воле. На службу.

— Из этих, значит, из охотниц за сибирскими богачами, которые начинают в машинистках, — быстро сообразила Марья Ивановна, окинув взглядом девушку и багаж.

Поджав губы и для большей сановитости замедляя походку, она повела осматривать комнату. Приезжая почти ни на что не взглянула, ни о чем не спросила, а только обрадовалась при виде «Вестника Европы»:

— Совсем как бывало дома.

— Мы в столицах не бывали, но за литературой следим и журналы выписываем. Никогда я не думала, что придется комнаты сдавать, в дом пускать посторонних. Мало ли кто потом может оказаться. А ведь эта комната мужа! Если бы не вдовство...

Девушка смутилась. Ей было неловко вторгаться в чужой дом. Но она так устала с дороги. Вымыться бы и выпить чаю.

— Простите, мне самой стыдно вас беспокоить. Но я мешать не буду. Тут у вас так хорошо. Цветы и деревья. У нас таких деревьев нет, честное слово. Огромные и какие красавцы.

Тут в окно заглянул гусак и девушка вскрикнула:

— Гусь! Какая прелесть! Я обожаю гусей, честное слово. И у нас таких больших нет.

— Он злой и кусается. Раньше был ничего, но гусыня померла, вот он и злится. Пробовала я ему новую прикупить, так он чуть не заклевал ее. Вот теперь один и ходит, злится. Предупреждаю вас об этом, потому что кусается больно.

— Нет, нет, он наверное подружится, я ему есть буду давать.

Марья Ивановна пожала плечами и вышла распорядиться насчет вещей и самовара, да приказать принести воды для мытья. Вернувшись, пропустила девушку в гостиную кончить деловую часть разговора.

— Надолго сюда переезжаете? служба постоянная?

— До осени. У меня контракт на лето.

— Какая же служба? в чем деле? я здешних ведь всех знаю. Секретаршей будете?

— Нет, в театре. В летнем театре Долина. Я инженеру драматик.

Марья Ивановна собрала рот в букву о, чтобы выдохнуть без громкого вскрика. Конечно, она без предрассудков, но все-таки... Пустить в комнату мужа актрису. Да и деньги неверные, а поведение... неизвестное.

— Помните, гостей чтобы сюда никаких, сурово проговорила она после молчания.

— Гости? — Девушка рассмеялась. — Да я ровно никого не знаю в Иркутске. Я так быстро уехала, что даже рекомендательных писем не взяла. В понедельник получила повестку от Разсохиной, — это у нас театральное бюро, — во вторник подписала контракт с Долиным, а в четверг в одиннадцать пятьдесят вечера я уже сидела в поезде. Дома все сердились. Но мне так хотелось прокатиться в Сибирь. Такая здесь красота — невероятная.

Марья Ивановна глядела сүмрачно. Болтушка, балаболка, бестолкова явно: ни на что не взглянула даже. Мусор раз-

Новоселье

ведет и денег не заплатит. И ей захотелось выпроводить жилищу.

— Деньги нужно за месяц вперед. Сорок рублей. И если вам потом не понравится, деньги не возвращаю.

— Почему не понравится? Тут отлично. А деньги я рада вперед отдать. А то боюсь у себя держать. Еще потеряю.

Жилища быстро вынула сорок рублей, положила на стол и расписки не спросила. Бесхозяйственная, без воспитания и порядка, — угрюмо подумала Марья Ивановна, но деньги прибрала в стол:

— Там посмотрим, ежели через месяц не заплатит в срок, вон ее и все тут.

— Просрочек никаких, помните. Платить в положенное число.

— А зачем просрочивать? У меня ведь жалованье.

— Жалованье в театре ненадежное. Летний ваш театр прогорит, будьте покойны. Контракт ваш ничего не стоит, одно барахло. За душой у вашего Долина, наверное, ни гроша. Прогорит и укатит во свояси. А вы останетесь в чужом месте без денег. На меня, пожалуйста, не рассчитывайте. Я сама вдова.

— Боже мой, какое счастье наконец по-настоящему вымыться! И какая у вас вода, холодная, прозрачная. Честное слово, у нас не такая. Прогорит, вы говорите? Почему прогорит? Нет, он известный антрепренер, и Разсохина говорила, что это мне прямо удача. Ну, а если прогорит, у меня, во всяком случае, родители в Петербурге: понадобится, они пришлют.

— Родители? почему я знаю ваших родителей? может у них самих ничего нет? Раз вы взялись за дело, какое же вы имеете право на них рассчитывать? Это уж совсем не резон. И они, конечно, откажут. Зачем, мол, уезжала, коли дело неверное. Ничего они не пришлют. И комната останется не оплаченной. Это ужасно, что приходится вести подобные разговоры между людьми интеллигентными, но я ведь комнату

сдаю не для удовольствия, а по моему вдовству. И при всем желании, благотворительствовать я не могу.

— Но я все-таки не понимаю. Ведь я уплатила...

— Ну, конечно. Но только все-таки имейте в виду. — Марья Ивановна вздохнула: — ужасно, что между образованными людьми такие денежные неприятности.

Жилица успела вымыться, причесаться и сияла удовольствием, усевшись за стол и поглощая булочки с горячим, сладким чаем.

— Как вкусно! Это всегда здесь такие булочки? право, даже у Филиппова таких нет. И чай удивительный у вас. Это, конечно, от близости с Китаем? сколько верст до границы? я забыла. Знаете, путешествие было удивительное. Красивее Урала вообще ничего на свете нет. А Обь! А Енисей! Это такой восторг. — А все таки хорошо оказаться на месте. И вот у вас «Вестник Европы», как дома. И сами вы такая образованная и добрая. Сегодня я еще успею пойти в лес. Ведь у вас начинается тут тайга. Гулять в тайге! Я всю дорогу мечтала об этом. Говорят, нигде в мире такого леса нет.

— Если вы пойдете в тайгу гулять, я лучше сразу предупрежу полицию. Я ответственности нести не желаю. Вы несовершеннолетняя. Найдут всю распотрошенную в лесу и ответ будет на мне. Намедни даже трех монашек не пощадили. Надругались, замучили, да еще консервными коробками брюхо, прости Господи, начинили. Это вам не Летний сад и не Стрелка, а тайга: тут Владимирка неподалеку, беглых с каторги сколько угодно. Встретите, не обрадуетесь. Не то что молодую, и старой опасно. Вот еще выдумали, в тайге гулять.

— Да не пойду, не пойду. Только я уверена, что чудесно и никаких каторжников. Зачем им меня убивать? Я им скажу, что у меня ничего нет, — да и вообще... Ну, не сердитесь, не пойду. Мне еще в театр зайти надо.

Марья Ивановна вошла в роль хозяйки и приветливо угощала приезжую, подвигая то дома сбитое масло, то булочки, то домашнее варенье из северных, здешних ягод. Жилица

Н о в о с е л ь е

пробовала на язык: — какие это ягоды? честное слово, у нас таких нет, я никогда такого варенья не ела.

— Тут у нас и рыба, какой вы не едали, и птица вам неведомая, и ягод наших в Петербурге нет. Осень придет, кедры орехами оденутся, — увидите, какие наши края. Только вот не берегут: мальчишки, чтобы орехи сбивать, норовят целую большую ветку обломать, сядут на нее верхом и обирают. А дереву порча. Надзору нет. Черезчур уж богатство большое у нас, не смотрят ни за чем. А я бы этих мальчишек...

Жилица посмотрела на ее достойное лицо, на аккуратно взбитую прическу с высоким черным бантиком наверху, на озабоченные серые глаза и ловкие неторопливые движения, какими она собирала со стола, — и захотелось сказать ей что-нибудь ласковое, успокоительное.

— Не удастся с театром, уроки буду давать. Я ведь с университетским дипломом.

— Уроков здесь детям никаких нет. Свои найти учеников не могут. Вот у меня дочь голодная ходит, у матери на шее сидит, а тоже образование, кажется, получила. Не для этого мы с мужем надрывались, себя во всем урезывали... — А если у вас диплом — повернулась она прямо к жилице, недоверчиво вглядываясь в нее, — то зачем же театр?

— Сцену люблю, — ответила жилица и откинувшись, даже засмеялась от удовольствия. — Это такое счастье. Подумайте, вместо одной вашей ограниченной жизни, вы много-много жизней живете, и самых лучших. Честное слово, ничего лучше театра нет.

— Театр хорошего ничего вам не принесет, — пробормотала Марья Ивановна, старательно обмывая чашки в подставленной под край самовара, медной полоскательнице, и перетирая их свежим, хрустящим от крахмальной чистоты полотенцем. Этой работы она никогда бы служанке не доверила: сервиз был ведь еще со свадьбы, а каждая чашечка оставалась как новая, без единой пометинки.

— Ничего ваш театр вам не принесет, кроме нищеты да сраму. Многое-множество жизней! Вы свою умеете как следует прожить, а за многими не гоняйтесь, спотыкнетесь, — и она внимательно разглядывала чашечку на свет прежде чем ставить в стеклянный шкафчик. — Спотыкнетесь, да поздно будет.. И на меня, уж извините, не надейтесь.

Но жилища, откинувшись в кресле, блаженно дремала, разморенная с дороги домашним теплом и вкусным чаем. И Марья Ивановна тихонько вышла, притворив дверь: — вот еще навязала себе заботу!

ПРОГУЛКА

Пробуждение на новом месте всегда волнует неизведанной радостью, — особенно в юности. Когда Надя утром открыла глаза, она не сразу сообразила где она: ей снился всю ночь поезд. Она увидала блики солнца на полу, золотые от утренних лучей занавеси и на них тень бьющейся, будто просящей впустить ее, ветки с крупными цветами. Она вскочила, подбежала к окну, подняла шторы: птичий треск и звон, кудахтанье кур, трепет цветов под ветром, влетел в комнату. Палисадничек перед окном был уже полон жизни. И гусь, вытянув шею, встретил острыми глазками Надин взгляд, всматриваясь с неослабевающим вниманием в новое для него лицо.

— Боже мой, как хорошо жить! Как я счастлива!

При первом звуке ее шагов и голоса, за ее спиной отворилась дверь и появилась опрятная немолодая женщина в свежем проглаженном ситцевом платье и с испуганным выражением лица. Она несла поднос со сливками, маслом, хлебом, съдобными булками, крутыми обдупленными яйцами, медом,

Новоселье

домашним вареньем, и разостлав скатерть, неторопливо расставила все на столе.

— Боже мой, да ни за что всего этого не с'ем. Тут на четверых.

Служанка уже возвращалась с самоваром.

— Выс как зовут?

— Марфуша.

— Марфуша-а-, эхом донесся из глубины хозяйки голос, и служанка исчезла.

— Какая погода, Боже мой, какой воздух. Чистый, вкусный, пахнувший неведомыми травами. Только в стерлитамакских степях дышалось так свободно.

Наслаждаясь утренним чаепитием, Надя вспоминала отъезд. Никто ведь сначала не поверил, когда дома за завтраком она сказала, что подписала в Иркутск. Брат спросил: — Ты уверена, что не в Индокитай? — Среди возгласов и укоров, только отец молчал, стараясь продолжать спокойно есть, и потом, взглянув на нее, тихо сказал: тебе так легко от нас уехать, что даже не посоветовалась? — А на вокзале все стояли с таким видом, будто ее отправляют в ссылку; — ей самой хотелось плакать и злость брала на свою выдумку. А вот теперь она одна в чужой комнате, на краю света, а кругом такая красота, какая и не снилась.

Торопливо одевшись, Надя побежала в театр оставить свой адрес. Никого, кроме сторожа, не было. Деревянный театр, большой, без архитектуры, стоял уныло, будто среди пустыря, в чахлом саду со столиками ресторана. Общее впечатление было неуютное и захотелось скорей уйти. Для открытия объявлена была «Гусарская лихорадка», и на доске висел вызов на завтрашнюю репетицию. Значит, сегодня можно гулять, все осмотреть.

Было странно бежать по улицам, и знать, что нельзя встретить ни одного знакомого лица. Она ведь даже актеров еще не знает. Улицы тихие, широкие. Дома казались ей

большими и даже нарядными: все же столица Сибири. И магазины выглядели почти по-московски. Как во всех городах, начиная с Челябинска, красовался на главной улице большой дом-магазин Второва. — Сибирский Мюр и Мерилиз, — подумала Надя, разглядывая богатую выставку товаров. Она уже знала, что Второв предоставил актрисам летнего театра широкий кредит на всяческую галантерею. Но она побежала дальше. И, выйдя к берегу, громко ахнула: лучше Невы. Выше этой похвалы у нее не было.

Широкая, быстрая, до дна прозрачная, стремилась перед ней Ангара. Каждый камешек цветными огнями играл в глубине ее ледяных вод, и заглянув в нее, можно было видеть каждую песчинку на дне.

В жаркий летний день от Ангары веяло прохладой, как от горных водопадов. Так стремительна и холодна была Ангара, что купаться в ней было нельзя: тело сводило судорогой. Ни один пловец не мог осквернить ее девственных вод человеческим присутствием.

Пахло свежестью, зеленые луга расстилались по другой стороне, неопределенно среди рощ рисовались очертания высоких холмов и дальше черною шапкою густела зеленая тень: тайга. Боже мой, тайга, настоящая тайга. И бегом, будто боясь опоздать, будто опасаясь, что тайга всю ратью своих дерев вдруг уйдет в недостижимую даль, Надя побежала к понтонному мосту.

Ей уже успели рассказать про арендаторшу моста, пожилую тетушку Швец, которая очень гордилась тем, что ей можно было писать просто по адресу: «Иркутск, Тетушке», и письма доходили. Надя вспомнила это и улыбнулась.

Заплатив свою копеечку, она пошла навстречу зеленым лугам по влажному, чуть под ногами трепещущему, деревянному настилу моста, в одурманивавшем, точно в рыбной лавке, остром запахе, несшемся от бежавшей под ногами реки: в этой своей части, Ангара, как садок, кишела всяческой рыбой.

Вязкой влажной зеленью лугов прошла она к серебряной красе березовой роши и погуляв, вышла к узкой Ушаковке, нёсшейся прозрачными извилинами в лоно Ангары. Ушаковка лежала в низких берегах и неглубокие, чистые ее воды тёптели под солнцем. Грузными рыбами плескались в них купающиеся, отбрасывая тени на усыпанное круглыми, ровными камешками дно.

Через узкую Ушаковку перекинуты были мостки. Надя прошла мимо казарм и каких-то казенных зданий, и очутилась в ремесленном посёлке. То была деревенька грязная, неприветливая, и только зелень огородов смягчала общее впечатление запущенности. Миновав ее, она пошла по широкой пыльной дороге вверх на гору. Там виднелось старое кладбище с наглухо запертыми воротами, а вне ограды, — несколько поросших бурьяном, заброшенных могил. Она постояла нерешительно: вспомнились виденные в пути зеленые кладбища горных уральских городов, место прогулок и даже любовных встреч заводской молодежи.

Старик сторож подошел со своим помощником к забору и неодобрительным взглядом смотрел на нее, потом негромко сказал:

— Тут ходу нет, места здесь плохие. — Ворчливо потолковав между собой о чем то, оба стали делать ей жесты остановиться:

— Бродяги тут, прощальги ходят. Оттого и кладбище запереть велено. Из-за случаев. Эй, барышня, назад.

Приставив рупором ладони к рту, младший что-то кричал ей вслед, но Надя весело бежала от них на гору. Потом остановилась. Место было расчищенное, мрачное, грязное, даже деревья с облупленной корой, помятые, вероятно тут бывали люди. Но отсюда далеко видно было вокруг: сверкала внизу Ангара, за нею темные заросшие горы, — весь Иркутск, такой издали елавный, лежал грудю игрушечных кубиков, там и здесь виднелись колокольни церквей, роши, холмы, светлые речки.

Сбросив пальто, Надя быстрее пошла наверх к все шире раскрывавшемуся горизонту. Все сплошь было покрыто густым кустарником; среди него разросся шиповник и желтые полевые лилии, которых здесь называют «огурцами». Запах сухой пахучей травы покрывал ароматы цветов. Вокруг тишина. Вода, деревья, цветы — ничего более, будто в первозданном мире. Когда она вошла в лес, ее охватило необычайное ощущение одиночества, освежающее и странное. Так густо обступили ее высокие, здоровые, широкоствольные деревья, что казалось, настали вечерние сумерки: только где-то наверху, на листве верхних веток, еще играли золотые капельки солнца. Она легла в густую мягкую зелень, смотрела в шапку деревьев, в голубые точки неба между ними. Потом снова шла. Чувство времени куда-то исчезло. Только бы не заблудиться. Тишина и одиночество покрывали ее.

Неясное ощущение внезапно связало ее, задержало на месте. Среди всех шорохов леса, она не расслышала ничего нового, но болезненно ощущала присутствие: пелена одиночества была прорвана. И вдруг ее снизу стал заливать мелкий, студёный страх: вспомнились все слова, прозвучало недавнее: «Эй, барышня, вернись». Что если?.. Сквозь листву; снизу в упор смотрели на нее глаза. Это они держали ее на месте. Она чувствовала будто на нее птицелов накинул сетку: шевельнуться нельзя, все тело застыло. Дятел стучит? нет, это в горле отстукивает сердце. Неужели так стоять? до чего глупо. Побегать? но он тогда сейчас же догонит. Кричать бесполезно — никого на версты вокруг. Ей стало даже противно, до чего страх заволакивал ее. Соображать становилось трудно. Надо все-таки сделать какое-нибудь движение. В конце концов даже с разбойником можно объяснить, надо ему только сказать, найти слова. А главное, не подавать виду, что боится. Она вспомнила, как ее всегда учили, что надо спокойно, не прибавляя шагу, идти мимо собак и они не тронут: только не бежать.

Снизу упорно смотрели глаза, внимательно и неподвиж-

Новоселье

но; пробежавший сквозь играющие ветки луч заставил сверкнуть лезвие топора в поднятой, застывшей руке. Вспомнилась комната, утренний самовар, заботливая хозяйка, и нежность к ней подкатилась к глазам слезами: ведь предупреждала же она. Этот страшный лес, и одиночество, и безвыходность. Дрожащими ногами, но твердо держа голову, Надя сделала шаг вперед, двинулась навстречу ожидающему ее року. Человек внизу сделал тоже движение. Она застыла, но преодолела себя. Это все-таки лучше, я может быть объясню ему. Она зажмурилась и продолжала идти. Она теперь явственно видела его внизу, его ожидающую позу.

— Погодка хорошая, гуляете?

— Вот оно, начинается, — подумала она.

— Здешняя будете, из поселку? Только не очень-то барышня, далеко идите. Вон тучки, это к грозе. А в грозу не дай Бог середь лесу.

— К грозе?

— А вон взгляните-ка на небо. Видать, к грозе.

Он взмахнул топором, подрубая дерево. — Дровосек! Боже мой, а я думала... — Ей стало так стыдно перед ним, как будто он мог прочесть ее мысли. И она закивала ему смущенно:

— Хорошо тут у вас в лесу, очень хорошо.

— Хорошо-то хорошо. Добрый путь. И он улыбнулся ей вслед.

Хоть мужик и оказался не прощальгой, а честным дровосеком, страх не прошел, — напротив. Она бежала так, как будто за нею гнались все каторжники с топорами, и прижимала только к груди охапки набранных раньше цветов. Она бежала мимо кладбища, на бегу, почти не останавливаясь, положила красный шиповник на могилы за оградой, которые почему-то казались ей могилами убитых или покончивших с собой, — пронеслась через поселок и только на понтонном мосту заставила себя идти ровным шагом. Когда вернулась

домой с желтыми лилиями, растрепанная и запыхавшаяся, она застала в передней Марью Ивановну в шляпе.

— Хотела идти заявление подавать. Люди вас в поселке видели. Говорили, что вы к лесу шли. Не терпится с каторжниками встретиться? Ваша воля...

Но Надя не слушала ничего. Она вошла в комнату, оглянулась, почувствовала всю радость жилища, как первобытный человек, вбежавший в долмен от гнавшегося за ним врага, — и бросив на стол охапку желтых лилий, повалилась в слезах на постель.

В Л Е Т Н Е М С А Д У

Открытие театра дает тон всему сезону: от первого впечатления публики зависит будущее труппы. Волнений, тайных обид, недовольства собою и другими было много; репетиции были особенно страстными. Волновались не только по поводу ролей, но и по поводу афиш, вывешенных у входа в театр и расклеенных по всему городу. Важно было, каким шрифтом и на каком месте помещено имя того или иного артиста.

Героиня, считавшая себя «дистенге» и не выходившая на улицу без длинных фильдекосовых перчаток, была шокирована, что молоденькая инженерю поставлена рядом с нею, да еще тем же шрифтом.

— А кажется, я немного более значу, чем она. Героиня в труппе — все, запомните это, милый мой. Меня вся Россия знает. В Калуге меня так принимали. На закрытии были овации, каких не запомнят. А цветов было, цветов... — Как на больших похоронах, — dokonчил администратор и убежал,

Н о в о с е л ь е

пользуясь минутой замешательства: героиня окаменела от негодования.

Первый любовник и неврастеник, игравший на столичных сценах, выражал полное равнодушие к подобным мелочам. Остановясь у входа в ресторан перед огромной афишей, он тыкал концом тросточки в яркими буквами горевшее свое имя, и пожимал плечами:

— Ну к чему такие колоссальные буквы? Никифоров, Никифоров, к чему же так выделять? Актер, как актер. В конце концов, что во мне такого, чтобы кудахтать на всю улицу? Не понимаю. — И он вопросительно взглянул на бывшего с ним комика, ожидая возражений.

— Ммда, протянул тот, переборщили. Вы правы. Шрифт уж черезчур такой...

— То-есть как переборщили? Если поставили такой, значит стою. Зря этого делать не станут, — и он обиженно зашагал прочь от слегка озадаченного спутника.

Но в день спектакля все было забыто. Решалась общая судьба и все одинаково были заинтересованы в удаче.

В уборных говорили шопотом, будто боялись кого-то разбудить. Слышались только раскаты голоса первого любовника, пробовавшего звучание своей реплики, начиная и обрывая на полу-фразе. Актрисы нервно подправляли гримм, то прибавляя, то вновь убавляя какую-нибудь деталь и пустыми глазами глядели в тетрадки, силясь повторять роль, хотя сосредоточиться было уже невозможно. Надя, давно готовая к выходу, беспомощно комкала листки роли и растерянно смотрела в зеркало на незнакомое ей лицо золотокудрой блондинки с тоненькими бровками; светлый парик стягивал неприятно кожу у висков и горячил голову, она чувствовала себя точно под анестезией; все доходило с задержкой до ее восприятия, сознание реагировало с трудом.

По корридору ватной походкой пробежал помощник режиссера с книжечкой выходов и зашуршал голосом без интонаций:

— Публики много... Пришли все видные люди города... Он просунул голову в дверь: Готовы? скоро начинать... От этих слов останавливалось дыхание и коченели руки.

— Погодите, сейчас, минутку...

— Торопитесь. Время. Даю звонок.

Разногласия исчезли, все искали друг у друга сочувствия. Сдерживая дрожание челюсти, и пытаясь отпить холодной воды из стакана, который почтительно держала перед ней ее камеристка, героиня смущенно бормотала:

— Вот сколько лет играю, а не могу, волнуясь... — И руки у нее жалобно, мелко дрожали.

Продребезжал звонок в уборные: на сцену! Широко крестясь на ходу, шепча короткие обрывки молитвы, актеры выбегали в корридор. Навстречу им неся всклокоченный, потный режиссер с неузнаваемым, багровым лицом. Пропуская мимо себя артистов за кулисы, и захлебываясь нервной слюной, он давал последние наставления, которых все равно никто не слушал:

— Марья Ивановна, голубушка, не снижайте. Поднимайте тон, работайте на выход. Степан Никифорович, помягче, помягче и не забудьте переход...

— Надежда Петровна... — Он еще делал указания, когда вылетел помощник:

— Марья Ивановна, Степан Никифорович, на места. Даю занавес.

Еще раз перекрестившись, прошептав — Господи, Господи, — героиня прошелестела к креслу, расправила шелк платья и застыла в непринужденной позе. Степан Никифорович, проведя языком по похолодевшим губам, и тихо крикнув, чтобы проверить голос, врос расставленными широко ногами посреди сцены.

— Даю, — раздался еле слышный голос, — готовы? Те мигнули в ответ одними ресницами.

Новоселье

— Давай, — протяжно сказал помощник стоявшему у занавеса. Секунда общего омертвения. Шуршит медленно раздвигающаяся, тяжелая ткань. Слышен голос Степана Никифоровича и сейчас же, покрывая его, гром рукоплесканий.

Режиссер вздрогнул, провел потной рукою по лицу, как будто хотел смахнуть проступившее выражение торжества, но не выдержал и зашептал:

— Клонуло, пять комнат с полной обстановкой. И архитектурная точность. Винтовая лестница прямо как в Художественном, этого здесь еще не видывали...

— Я даже газеты на столик в заднюю комнату бросил.... Московские.... Нарочно на станцию бегал, — подхватил помощник.

Режиссер вдруг дико схватил за руку Надю: — Не забудьте двери, двери подчеркните. Двери-то настоящие, деревянные, с ручкой... Это эффект... Не забудьте...

Надя мотнула головой. Ей было не до этого. В щиколотках неприятно бил пульс: — вот что значит душа ушла в пятки.

На следующей реплике ее выход. Самое трудное — вбежать с хохотом и чтобы естественно... Помощник стоял возле и дышал на нее.

— Вам, просвистел его шопоток.

— Ха-ха-ха... и Надя уже бежала к двери, дергала ручку и была на сцене. Так пловец на состязании бросается в салямортале с верхних мостков в воду. На сцене было уже легко: несла посторонняя сила и надо было только не сопротивляться горячей волне.

Режиссер, вытянув шею, слушал: — ничего....

— Ничего, подтвердил помощник.

Хлопнула дверь. Аплодисменты. Надя, вся опустошенная, возвращалась. Как быстро все промелькнуло.

— К выходу! Все! Кланяться!

Снова шуршит занавес, но уже не страшно. В бездон-

ной глубине теперь можно, кланяясь, разглядеть лица и хлопающие, высоко поднятые руки.

В антракте держит волнение, но больше не холодеют руки и не перехватывает горло сухостью.

После конца спектакля возбуждение не проходит. Снят гримм, подпудрено лицо, сделана обычная прическа, надето повседневное платье, но еще трудно войти в свою жизнь из только что пережитой на сцене. Идти домой невозможно. О сне и думать нельзя.

— Что, господа, в ресторан? отпраздновать надо.

И все двигаются в сад, к заранее приготовленным, сдвинутым столам. Только принявшись за закуску, чувствуют, как проголодались. Ведь весь день почти ничего не ели. Зато с утроенным аппетитом пили и ели теперь, перебирая радостные впечатления вечера и обмениваясь комплиментами. Настроение было приподнятое, беззаботно счастливое и все полны были дружбы, любви ко всему миру.

Одинок сидевший неподалеку за полубутылкою вина, офицер посматривал на оживленное пиршество с нескрываемым интересом. Он курил, потягивал вино и бросал взгляды на актрис.

— Ваша победа, — тихо сказал Наде сидевший возле нее немного охмелевший режиссер. — Ничего, он мил. Будет букеты подносить и мадригалы писать. А вы, змея, будете его мучить. Все как водится... — И он, высоко поднял бокал, звеня для привлечения внимания ножом о тарелку: — За наших прелестных дам и их победы.

Тост был принят с веселым чоканием, кто-то даже зянул куплеты.

— Разрешите и мне присоединиться к тосту... — Офицер шел к ним с бокалом в руке. — Разрешите приветствовать вас, господа. Ваше присутствие — честь для нашего города. Поднимаю бокал за искусство. Позвольте мне приветствовать вас шампанским, — и он мигнул лакею, который стал разливать пенящееся вино.

Новоселье

После чоканий, офицеру освободили место между героиней и Надей и он долго благодарил. — Вы не знаете, какая мне радость быть среди вас. Особенно сегодня... — добавил он с легкой гримаской. — Наша служба не всегда веселая и вечер в вашем обществе — это неожиданный подарок судьбы.

Офицер оказался приятным застольным товарищем. Он рассказывал веселые истории, ловко служил дамам и с почтительным вниманием слушал говоривших. Первый любовник подробно рассказывал ему о себе, и офицер молча слушал его с подчеркнутым интересом: «неоценимый собеседник», заметил потом Степан Никифорович режиссеру, который поддакнул. Действительно, офицер внес приятную новую нотку и видимо был счастлив, что попал в их общество. Он всячески старался их занимать и приходил в ужас от одной мысли о прекращении пиршества.

Режиссер лукаво подмигивал Наде: — До чего довели человека. Расстаться не хочет.

Героиня вспомнила все позы и интонации гранд-кокетт и с достоинством «дистенге» вела с ним светскую беседу. Она находила его не только элегантным, но и блистательно остроумным: — настоящий человек общества, каких я знавала...

Лакеи стояли поотдаль, ожидая когда кампания уйдет и можно будет закрыть ресторан. Темнота начинала таять и по-утреннему свежело. Актеры вдруг ощутили всю свою усталость. Оживление спало. Первым зевнул и потянулся за часами режиссер. Но офицер вскочил с неподдельным отчаянием:

— Ради Бога, не уходите еще. Вы и представить себе не можете...

— Завтра репетиция. И мы все таки устали. Пора по домам... Как-нибудь в другой раз с удовольствием...

— Нет, нет, именно сегодня. Вы даже понять не можете, как это ценно именно сегодня. Разрешите еще вина заказать..

— Но ведь ресторан закрывают. Поздно.

Он суетился, усаживал чуть не насильно. Позвал хмурых

лакеев, нехотя разливавших вино, и снова поднимал бокал за искусство, за процветание театра, за красоту дам... Он даже стал что-то нервно рассказывать про иркутскую жизнь, но сбился и, бледно улыбаясь, просил актеров лучше рассказать о самих себе: у нас у всех такие изумительные жизни...

Но сквозь его оживление, теперь уже явно наигранное, проступало что-то беспокойное и чувствовалось, что он много выпил и не прогнал какой-то тревоги. Актеры оставались нехотя, и становилось все более не по себе:

— Чорт его знает, чего его корежит... сердито проворчал суфлер. Не сидеть же из-за него до утра. Завтра в восемь вставать.

Он решительно встал: — Вы как хотите, а я пойду. С ног валюсь, спать хочется. Все разом встали за ним: пора. Никакие уговоры растерявшегося офицера не помогли: — еще часочек, прощу вас. Еще и четырех нету.

— Боже мой, и впрямь четвертый час. Это ужасно. Идемте. Вы с нами? вам в какую сторону?

— Нет, я здесь еще посижу. Мне уж нет смысла возвращаться. Мне надо к пяти быть неподалеку. И офицер указал на холм, синевший вдали в начинавшейся предраассветной серости.

— То-есть как надо? любезно заинтересовалась героиня, — так рано у вас начинается учение? и она кокетливо улыбнулась, чтобы закрепить впечатление своего шарма.

— Нет, не учение, а так, дело по службе. Дома боюсь проспать. Лучше здесь дожидаться часа. Надо ровно к пяти, на заре. Эти полтора часа здесь одному просидеть незавидно. — Голос у него был теперь совсем не тот, каким он произносил тосты, да и лицо сразу показалось грубее и проще.

— Идемте с нами, чего вам тут сидеть. Ресторан закрывают.

— Ничего, они меня знают. Я посижу. А уходить неудобно. Дело служебное.

Н о в о с е л ь е

Надю разбирало любопытство. Какое может быть дело на холме в пять часов утра? Очевидно охота, или какое-нибудь особенное сибирское рыболовство? но почему по службе? Она не выдержала и спросила:

— А какое у вас дело так рано?

— Эти дела всегда рано, хмуро отвечал офицер. Усталость и хмель слышались в его сиповатом голосе. И не раздумывая дольше, он объяснил:

— На той стороне, за Ушаковкой казармы. Ну вот там за казармами сегодня утром я и должен быть. Политический один... И я по службе назначен присутствовать при казни. Конечно, служба. Но уверяю вас, препротивное чувство. И я был рад не быть одному. Я вам благодарен, господа, за этот чудесный вечер и непременно приду апплодировать вам на следующий спектакль...

Надя всматривалась в лицо этого человека и машинально спросила: — Молодой?

Офицер не сразу понял: — То есть как? Ах, этот... Да, довольно молодой. Уверяю вас, что это очень неприятная обязанность. И я бы так хотел побыть еще с вами. Посидимте. А то мне еще полтора часа.

Но актеры нелепо пятились назад, как овцы. Режиссер, тупо уставившись на рассыпавшегося в любезностях офицера, застегивал одну и ту же пуговицу пиджака. Пятились, не решаясь повернуться спиной, и лишь дойдя до ворот сада, сразу, почти толкаясь, бросились на волю и устремились по предрассветным улицам.

Молчали всю дорогу. Только суфлер вдруг пробурчал:

— Не бывать добру. Открытие с висельником отпраздновали. И чорт его дернул присоединиться. Веревка для театра самая плохая примета.

Надя громко охнула и остановилась как вкопанная: на холме за казармами. Может быть, это то расчищенное место, откуда она любовалась на-днях видом на Иркутск.

Шли понуро и расстались молча. Светало. У всех была одна мысль: кто-то встретит этот рассвет с веревкой на шее.

— А мы еще его шампанское пили, вдруг брезгливо передернулся режиссер.

Надя, придя домой, не могла заснуть и сидя на постели, невольно следила за часовой стрелкой: в пять часов.

А в городском саду, положив перед собою часы, офицер молча курил, и только огонек его папиросы виднелся в опустевшем ресторане с нагроможденными друг на друга, мокрыми от росы столами.

— Еще больше часу ждать. Проклятая служба.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Словно рябина,
 рассыпала бусы я,
Круглые бусы
 рассыпала, алые.
Самые русские,
 самые русые,
Вас на дорогах
 пустых потеряла я.

Синие ласточки,
 спрятаны хмарою,
Стали земле вы
 нетрудною ношею.
Это над вами
 прошамкала старая:
Спите, желанные,
 спите, хорошие.

Пушки проходят
 дорогой запыленной,
Смято прожектором
 облако пьяное,
Но самолетов
 полночные филины
Вас не разбудят
 порою туманною.

Злобой нездешней
и лютой побороты,
Тихо лежите,
льняные и кроткие,
Вышита гладью
у самого ворота,
Кровью горит
рубашенка короткая.

Стонет заря
золотой трясогузкою,
Вечер поет вам
слова одичалые,
Смерть открывает
об'ятия узкие:
Самые русые,
самые русские,
Вас на дорогах
земных отыскала я.

НЕ ЗАБЫТЬ

Ходит странник, ходит убогий,
Костылем железным пыля.
Где ударит костыль двурогий,
Там встают родные поля.

Синева плывет из-за леса,
Расступаясь, шумит листва,
Паутины светит подвесок,
Вся в дыму сосны голова.

Новоселье

На поляне белки рябые
И покой, покой без конца...
Облака несет голубые
На волне высокой Тверца.

Растекается день янтарный,
Ударяет ветер с плеча,
И коровы бредут попарно
И жуют, лениво мыча.

И мелькают огни усадьбы,
На свечах цветные шары,
На окне мушиные свадьбы,
В кисее густой комары.

Не забыть вечерние звуки
Челнока по черным пескам, —
Ты в тревоге тонкие руки
К ледяным подносишь вискам.

Поле полнится сонной дрожью,
Не поднять усталых бровей,
И орловский спит в бездорожье,
И во сне поет соловей.

Не забыть... До рассвета, быть может,
Все, что память напрасно тревожит,
Обернется Россией твоей.

НИК. ГИЕВСКИЙ

ЗАЧЕМ ПУШКИН ЕЗДИЛ К ПОКРОВУ...

Исторический рассказ

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; . . .
. . . — она была несчастна.
..«Домик в коломне».

1.

Генерал Александр Дмитриевич Буткевич, недавний командир Белозерского пехотного полка, стоявшего вместе с несколькими другими армейскими полками в Петербурге на время ухода гвардии в походы, давал в своем доме-усадьбе на Екатерингофском проспекте последний в сезоне 1817 года весенний бал. Генерал любил размах, и балы его стоили ему уйму денег. Теперь он тянулся из последних сил, и это не было секретом: Петербург знал, что широкий образ жизни генерала поглотил все его поместья, кроме последнего новгородского, да и от того оставалось всего шестьсот заложенных душ. А между тем, старшей из трех дочерей, Екатерине Александровне, известной на всю бальную столицу красавице, минуло восемнадцать лет, и надо было пристраивать ее, а без приданого, с одной красотой, хорошую, настоящую партию найти было трудно. Между тем, чем дольше она оставалась в девушках, тем больше средств надо было, чтобы поддерживать train дома, в котором есть невеста на выданыи.

Теперь, наконец, в последние месяцы сезона, стало вы-

ясняться, что из трех сыновей графа Николая Алексеевича Татищева, Алексея, Дмитрия и Николая, особенно часто посещавших дом Буткевичей и одинаково ухаживавших за Екатериной Александровной, старший, Алексей, видимо имел в отношении ее совершенно серьезные намерения. Лучшей партии нельзя было желать. Катеньке было 18, Алеше 23. Под пару ей он был: статный красавец, хоть и не военный — он делал штатскую карьеру. Кроме титула, были солидные средства. К тому же, по всем видимостям, Алеша был явно влюблен, и Катенька отвечала ему взаимностью. И обсудив дело со своей генеральшей, Александр Дмитриевич решил истратиться из последних и влезть в еще большие долги, лишь бы довести дело до конца в этом же сезоне, не откладывая до будущего, — дать этот последний весенний бал пред отъездом семьи в имение, в надежде, что молодые люди на балу договорятся, и за ужином можно будет объявить их женихом и невестой.

Этот план чрезвычайно одобрили близкие друзья Буткевичей, обер-секретарь сената, Лев Иванович Кохановский, и жена его, Бригитта Григорьевна, очень хорошо знавшие материальное положение семьи, так как Лев Иванович заведывал всеми делами генерала, а Бригитта Григорьевна была задушевым другом генеральши.

Прежде чем окончательно решить вопрос насчет бала, Кохановские взяли на себя задачу выведать, каковы в самом деле намерения молодых людей. Бригитта Григорьевна, знавшая Катеньку с детства, ловкими намеками прозондировала ее чувства и мысли, а Лев Иванович, у которого в приятелях было пол Петербурга, постарался выузнать, как обстоят сердечные дела молодого графа Алексея Николаевича. Результат в том и другом случае получился вполне благоприятный. Тогда и решили устроить бал.

Оставались у Льва Ивановича сомнения лишь насчет старого графа Николая Алексеевича. Это был человек гордый и тщеславный. Правда, графский титул он получил толь-

ко в 1801 году, но он был рюрикович чистойшей крови: предки его были удельные князья смоленские, утратившие княжество при переходе на службу великих князей московских. Да и по службе граф был знатен: при Екатерине он командовал преображенцами, а при Павле и Александре выслужил все отличия, какие мог, и уже шестнадцать лет состоял в генералах-от-инфантерии. Буткевичи же хоть и были старого польского дворянского рода, но особенной знатностью не отличались, а по службе Александр Дмитриевич, долго командовавший не видным армейским полком, был теперь довольно заурядным генерал-майором.

Обсудив все это в разговоре с женою, опытный в житейских делах обер-секретарь сената пришел к такому заключению:

— Старый граф будет артачиться, без этого не обойдется. Но старшего сына он любит больше двух других. И ежели Алеша выдержит характер, старик поартачится и уступит. Лишь бы наш генерал не испортил дела, если старый граф начнет кобениться. А то коса найдет на камень.

Кохановский знал, как горяч и не в меру самолюбив генерал; это в нем оставалось от старой польской крови.

2.

Катенькина спальня во втором этаже окнами в парк. В передней стене, в овальной арке просвета, дверь на балкон с окнами по бокам. Над аркой тюлевые занавески; верхний во-лан забран в три шара, каждый пронзенный красной стрелой. По правой стене, под выступом свода, белоснежная девичья постель и над нею на стене ковер с огромными кирпично-красными цветами — четкие контрастные пятна на тускло-синем цвете шпалер. В левом углу киот, на крышке киота пучок последних верб в вазе, под потолком в углу большая икона Божьей Матери с подвешенным большим пасхальным яйцом и мерцающей лампадкой. Отступя от киота, под полуоваль-

Н о в о с е л ь е

ным окошком высоко в стене, — туалетный столик с кисейной юбкой и на нем зеркало большим прямоугольником в серебряной оправе. Над зеркалом на стене в рамке портрет матери черным силуэтом на белом фоне. Пред туалетным столиком — Катенька в negligé, с накинутым на покатые плечи зеленым платком-шалю. Изумительные царственные плечи, и на точеной шейке классической красоты головка греческой богини.

Марфуша только что закончила прическу темных волос.

— Будете сичас одеваться, барышня?

На кресле, крытом блекло-малиновым штофом, с низкими локотниками и выпуклой вершухой спинки для опоры головы, раскинулось новое бальное платье — белый шелк серебряными чешуйками.

— Рано еще, Марфуша. Набегалась сегодня, посижу. Да вон посмотри-ка: на подоле внизу у платья мятая складка. Поди, разгладь.

— Ахти, как же это я не заметила! Как принесли от францужинки, развесила, думала все в аккурате, не доглядела. Я в один минут.

Марфуша подхватила платье и понеслась с ним вниз.

Екатерина Александровна двинула к стеклянной двери освободившееся кресло — оно легко скользнуло по гладкому, как коток, наощенному желтому полу, — опустилась в него и замерла пред любимой картиной.

Догорала вечерняя заря. На медленно густевшем розовом фоне неба прозрачно намечалось кружево ветвей в зеленом пуху и в березовых сережках. Тут через три недели будет, куда ни кинь глазом, сплошное море зелени: свой парк на доброй десятине и рядом с ним такой же Никиты Всеволожского, — того, у которого «Зеленая лампа». Ах, эта «лампа»! Сколько беспокойства было у генерала по поводу нее: упорно болтали, что там опасный бунтарский клуб, где что то ужасное замышляется против государя. На деле оказалось просто частный клуб, куда золотая молодежь с'езжается

веселиться со своими дамами, — актрисами и балетными. Алеша там бывал, рассказывал: пьют и дурят и непристойности болтают. Всякий раз, как гость непристойно выбранится, к нему подходит калмыченочек и с поклоном говорит: «здравия желаю!» Во время больших пиров калмыченочек очень занят, — то и дело кланяется... Пушкин часто бывает. Алеша с ним хорош. Говорит, чудо, какой славный, и настоящий гений. Острые экспромпты, один другого хлеще, так и сыплются у него. Только очень опасные, все против правительства. Катенька недавно видала его, как он шел мимо от Всеволожского. На вид на гения ничем особенно не похож: смуглый молодой человек, живой, как вьюн, с приплюснутым, плоским носом и большими губами. А как стихи пишет! Она ими зачитывается. Особенно из новых мил ей «Певец», говорят недавно написал:

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?

Вспомнив стихи, она про себя прочла их до конца, наслаждаясь каждой строчкой. И вдруг живо вспомнилась любимая новгородская деревня, куда она скоро поедет, березовая роща у дома с сплошным ковром ландышей, где соловьи заливаются наперебой до тех пор, как начнут гаснуть звезды и с далекого поля донесутся прозрачные звуки свирели. Подумала: какое счастье быть поэтом — уметь в нескольких строках нарисовать целую картину, которая вдруг оживет пред глазами со всеми звуками, запахами и красками.

Заря блекла. В балконную дверь потянуло холодком. Екатерина Александровна плотнее закуталась в зеленый платок и с удовольствием потянулась в кресле. Да, устала. День был хлопотливый. Утром, едва встала, ездила к **M-me Blan-**

Новоселье

chard на последнюю примерку. После раннего обеда пришлось лететь с маменькиными поручениями в Гостинный Двор. Потом завернула в Летний Сад: не знала, но чувствовала, что Алеша может быть там. После министерства он туда часто заходит — Татищевы живут на Французской набережной рядом — и у нее с ним там есть на всякий случай условленное место у статуи богини Помоны. Как обрадовался! О чувствах своих он еще ни разу не говорил. Сегодня чуть-чуть не сорвались у него слова, которые она так ждала. Но показались люди, пришлось расстаться. На прощанье, однако, он намекнул, что скажет ей на балу вечером что-то очень важное, добавив, что постарается приехать пораньше, чтобы повидать генерала до бала.

— Может быть, Екатерина Александровна, вы заглянете в диванную прежде, чем гости начнут с'езжаться?

Она обещала. Все это шито белыми нитками. Ясно: Алеша будет сегодня просить ее руки. Папа и мама это чувствуют. Не даром они так торжественны весь день и с ней так ласковы. Она знает, они очень хотят этого брака.

3.

Душа Екатерины Александровны ликовала и пела, но внешность ничем не выдавала душевного волнения; она умела прятать свои чувства, даже оставаясь наедине сама с собою. Родные считали ее гордячкой в отца, но она гордой не была, просто не любила выносить на люди свои чувства, чтобы не расплескивать их зря: в себе утаенное полнее и ценнее выявленного наружу.

Подобно пушкинской Татьяне, в чьем образе ей, может быть, суждено было навеки войти неизгладимой памятью в русскую поэзию,

Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой . . .

. . . И были детские проказы
Ей чужды . . .

С детства величественная и бесстрашная, Катенька никогда не принимала участия в играх двух младших сестер и брата:

Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала . . .
. . . Играть и прыгать не хотела,
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

И редко, редко, в минуты особого благоволения к сестрам и брату, позволяла она им заперчься в ее маленькие сани и катать ее.

За то «ей рано нравились романы — они ей — заменяли все . . . ». Родители «в книгах не видели вреда», считали их «пустой игрушкой» и не «заботились о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой». И пользуясь этим, Катенька к 18-ти годам прочла всю современную романтику, включая «Новую Элоизу» Руссо, пробудившую ее чувства и сердце. На таких романах она созрела для любви. И, вот, полюбила огромной любовью. И никому не было в догадку, на какие чувства способна эта на вид бесстрашная красавица. И сам Алеша не подозревал, какое счастье ему готовится, если он сумеет его взять.

Глядя теперь на потухавшую зарю и слушая кукушку, вещавшую что-то кому-то в одном из соседних парков, она размечталась, как вот она скоро уедет в деревню невестой, Алеша приедет к ней, и будут они уже близкие, а осенью они обвенчаются, и будет счастье, какого еще никто не знал на земле. «А ну-ка, кукушка, скажи, долговечно ли будет наше счастье?» загадала она.

И вдруг, долго певшая кукушка неожиданно замолкла.

Новоселье

От матово-белого лица кровь отхлынула совсем, и рука невольно легла на сердце.

4.

Старый швейцар Самсоныч, в уже надетой для бала парадной ливрее, дернул сонетку, посредством которой сверху в экстренных случаях вызывался дежурный лакей. На звонок сбегал вниз молодой камердинер генерала, Андрюшка, веселый малый с румянцем во всю щеку.

— Вам что, Антон Самсоныч?

— Письмо экстренное его превосходительству от их сиятельства графа Татищева, — очень значительно сказал Самсоныч. — Сказано самонужнейшее, подать не медля в собственные руки.

— Что ж, давайте, — легкомысленно ответил Андрюшка и, приняв без всякого уважения большой куверт за красной печатью, стремглав понесся обратно, перемахивая через несколько ступеней.

Генерал кончал одеваться у себя в уборной. Был еще в белой, как кипень, рубашке и шелковых помочах, цвета его Станиславской ленты, вышитых бисером, — подарок двух младших дочерей-рукодельниц к недавнему Ангелу.

Андрюшка одернулся и принял степенный вид пред тем, как войти.

— От графа Татищева самонужнейшее, — подал он куверт на серебряном подносике.

С некоторым удивлением округлив брови, генерал торопливо взял письмо. Пока он распечатывал его, на лице было нетерпение, скорее приятное. Потом, начав читать, он вдруг тяжело засопел, и полное лицо и короткая шея густо налились кровью.

«Ровно у индюка», подумал Андрюшка.

Казалось, полновесного генерала вот-вот хватит удар. Но он перевел дух и овладел собой.

— Подай шлафор и скажи доложить генеральше: прошу сей же час ко мне, — приказал он. — Да пошли ко мне Самсоныча.

Моложавая еще, полная генеральша, с приятными округлениями и ямочками на налитых щеках, прибежала в пеньюаре и в папильотках.

— Случилось что?

— Вот, прочти.

Он подал ей графское письмо. Она начала читать и так и осела на стул, дочитывая. Письмо гласило:

Милостивый Государь,
Александр Дмитриевич!

Сын мой, Алексей, сию минуту признался мне, в намерениях своих просить руки старшей дочери Вашей, Екатерины, сегодня на бале, для сей именно цели Вами, как я понимаю, затеянным. Почитаю долгом уведомить Вас, Милостивый Государь, что я сему решительно воспротивился и сыну в согласии на сей брак отказал, запретив ему и думать о нем.

Доводя о сем до сведения Вашего, имею честь просить Ваше Превосходительство принять уверения в истинных чувствах совершенного почтения и таковой же преданности.

Граф Николай Татищев.

Генеральша ахнула. Губы ее побелели.

— Какой фронт! Как же быть? Граф, говорят, упрям, да отходчив. Он не видал Катеньки. Если б увидал...

— Говорить не о чем, — отрезал генерал. — Ежели граф упрям, я упрямей вдвое. И гонора у меня не меньше его. Скажи Екатерине. А балу быть, как ни в чем не бывало.

Вошедшему Самсонычу генерал приказал:

— Молодому графу Алексею Николаевичу Татищеву,

Н о в о с е л ь е

ежели приедет, сегодня ли или в другой день, раз на всегда отказ: не велено принимать.

— Не велено принимать? — не веря ушам своим, не своим голосом спросил старик. Он в барышне Катеньке души не чаял, и знал, как и все в доме, с какой целью устраивается бал.

— Не велено принимать, и раз на всегда. Понял?

— Понял, — тихо ответил старик.

5.

Услужливые знакомые изобразили дело графу в искаженном виде: интриганы Буткевичи льстятся на состояние графа, заманивают сына и сватают ему свою дочь против его воли. Граф погорячился, послал письмо, а Алексею приказал немедленно прервать всякие сношения с Буткевичами. Алексей не послушался и на бал поехал, чтобы об'ясниться с Екатериной Александровной, уверить ее, что отец его одумается и что к осени дело уладится. Но он принят не был, а на дальнейшую борьбу настойчивости у него не хватило. Погорячился и генерал. В свете говорили, что не откажи он Алексею от дома, свадьба эта могла бы устроиться позже. Теперь дело оказалось безнадежно испорченным.

Бал прошел по обычному. На хорах гремел военный оркестр, пары носились в сложных фигурах мазурки и котильона, но скандал неведомыми путями вдруг стал всем известен, и настоящего бального оживления не было. И приготовленный на случай помолвки блестящий фейерверк сожжен не был.

Все дивились выдержке Екатерины Александровны: прекрасное лицо ее улыбалось по обычному, ничем не выдавая душевных страданий. После бала мать хотела приласкать ее и позвать к себе для утешений. Катенька коротко ответила:

— Мне ничего не надо. Я спокойна.

Ушла к себе и три дня не появлялась.

Потом жизнь в доме генерала как будто вошла в обычную колею. Но обычного в ней было мало. Катенька стала нелюдимее прежнего, и, тяжело переживая свое горе, глубоко ушла в себя. Материальное положение семьи стало ужасно. Денег не было. Кредиторы, терпеливо ждавшие уплаты по счетам, надеясь на помолвку генеральской дочери с богачом графом Татищевым, вдруг забеспокоились, и Льву Ивановичу с трудом удалось заткнуть главные дыры и убедить более крупных кредиторов подождать до осенних доходов с новгородского имения. Вывозить дочь больше стало не на что, да и как было вывезти после того, как разошлась свадьба, которую весь город считал несомненной. А по тогдашним светским понятиям разневестившаяся светская девушка, хотя бы ни в чем не виноватая, считалась навек опозоренной и не годей для другой хорошей партии. Исключительная красота Катеньки еще больше ухудшала ее положение, увеличивая злословие и злорадность соперниц, их мамаш и тетушек, и злобные языки сплетничали во всю, марая имя несчастной девушки и окончательно губя ее репутацию. И все это должно было отразиться на ее двух сестрах, уже достигавших возраста невест.

Положение семьи генерала казалось безвыходным. Спас его тот же Лев Иванович Кохановский.

6.

В собственном особняке на Английском проспекте доживал одинокую жизнь вдовый граф Валериан Венедиктович Стройновский, человек очень незаурядный. Он был миллионер, сенатор, ученый и писатель, доктор прав и медицины, автор пользовавшейся большой известностью книги «Об условиях помещиков с крестьянами» и других, адвокат с большим ораторским талантом и солидной эрудицией, знаток и ценитель искусства, сам владевший редкой картинной галереей, вообще человек утонченный, западно-европейской

Н о в о с е л ь е

складки и большой поклонник женской красоты. Смолоду красавец, одевавшийся у лучших портных, он имел огромный успех у светских красавиц Варшавы и Вены, где он жил в долгу, так как многочисленные его имения, разбросанные по Европе, расположены были, главным образом, в Польше и Австрии.

Теперь граф жил больше в прошлом. От прежних радостей жизни оставалась любовь к искусству, к музыке и страсть изредка «процессовать», не очень совместимая с званием сенатора. И над всем доминировало рыцарское преклонение пред женщиной, переходившее уже в платоническую стадию в силу возраста, — графу шел шестидесятый год. Поддаваться годам он, однако, упрявился, изредка все еще позволял себе лихо пройтись в мазурке на великосветском балу, за бокалом шампанского шутливо признаться в любви светской красавице и, вовсе не шутя, подумать о том, что еще раз жениться было бы, пожалуй, не совсем уж поздно.

Дела этого миллионера-вдовца вел Лев Иванович Кохановский, бывший в большом доверии у графа. Мысли его по поводу женитьбы он знал. И в один прекрасный майский день Бригитта Григорьевна поехала к своему душевному другу, Катенькиной матери, свахой. Генеральша по началу встала на дыбы.

— Что ты, мать моя, ополоумела? Да ведь граф-же ей в дедушки годится: внучка его, графиня Тарновская, Катеньке моей ровесница. Как я ее за старика выдам!

— Старик старику рознь. Такой старик двух молодых стоит. В какой доле и ласке Катенька жить будет, подумайте. И всем сплетницам-шипячкам платок на роток накинём, как Катенька в первые петербургские богачки выскочит, а уж о прочем я и не говорю. Подумайте, подумайте, милая. Другого такого случая не будет.

Генеральша подумала и дала для начала согласие на то, чтобы в ближайшее воскресенье после церкви Катенька с сестрами поехала к Кохановским завтракать, с тем, чтобы за

завтраком невзначай познакомиться с графом. А там, что Бог даст.

Красота Екатерины Александровны, ее величественная манера держаться, изящный ум и при всем том ее 18 лет произвели на стареющего знатока женщин совершенно неотразимое впечатление. И сряду после завтрака он поручил Бригитте Григорьевне добиваться для него руки Катеньки и устроить это сватовство во что бы то ни стало.

Генеральша, обдумавшая тем временем предложение своего друга, пришла к заключению, что оно, может быть, вовсе не такое недостаточное, каким показалось сряду. И при вторичном приезде Бригитты Григорьевны она согласилась переговорить с мужем.

Выслушав ее доводы, генерал запыхтел сердито.

— Делайте, как знаете, — огрызнулся он. — Знай только одно: насилия над дочерью не допущу. Благословение дам, если Катя сама мне скажет, что желает этого брака.

И вот, помолившись пред киотом у себя в спальне, мать пошла к Катеньке, заперлась с нею, сказала о сватовстве и обрисовала ужасное положение семьи.

Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...

«Признания матери раскрыли под ее ногами бездну», рассказывал впоследствии племянник Екатерины Николаевны, Н. С. Маевский. «Сама смущенная не менее дочери, мать опустилась перед нею на колени, и, покрывая ее руки горячими поцелуями, умоляла принести себя в жертву для спасения всей семьи. Дочь дала это согласие просто, с достоинством, как все, что она делала. Мать облила слезами это восхитительное личико, стерла следы их с чудных синих глаз дочери и пошла к мужу объявить о согласии Катеньки».

Генерал, не поверив жене, потребовал, чтобы дочь сама

подтвердила ему свое решение. «Холодно и бесстрастно молодая девушка ответила, что она находит партию вполне выгодною, что, несмотря на разность лет, она надеется быть счастливою с графом, благодаря его редким качествам, и потому, если папенька изволит дать свое согласие на этот брак, то и она согласна. Железный старик дрогнул. Он почувствовал, сколько преданности и самоотвержения скрывается в этих фальшивых нотах, и понял, что она не желает даже признавать себя жертвой, щадя его гордость и глубоко-оскорбленное самолюбие. Взволнованный и растроганный, он привлек дочь к себе на грудь и сквозь слезы дал ей свое благословение. С этих пор родители благоговели перед своею дочерью, а младшие сестры и брат почитали ее второю матерью, и она оправдала их доверие».

В следующую осень, Екатерина Александровна, с спокойным бесстрашием на лице и с затаенной в сердце любовью к Алеше, пошла к брачному алтарю с своим женихом, который был больше, чем втрое старше ее. Венчание происходило в коломенской церкви Покрова. С'езд был огромный. Гарцовали конные жандармы. Многочисленная полиция явилась во главе с местным полицмейстером. Проход от тротуара до паперти утопал под ковром живых цветов. Невеста сияла холодной красотой. Светские сплетницы не находили слов для комплиментов и — пророчили графу рога.

Начался сезон выездов. Графу, не помнившего себя от счастья, не терпелось похвастаться своею молодой красавицей-женой. И он повез ее на первый же в сезоне бал у Волконских в высочайшем присутствии. Красота Екатерины Александровны в блеске брильянтов, которыми осыпал ее муж, произвела из ряду вон исключительный фурор. Первый контрданс танцевал с нею государь Александр Павлович, а весь остальной вечер не отходил от нее старейший из ловецасов того времени и знаменитый танцор, Александр Иванович Чернышев (герой всех войн 1805-15 годов, впоследствии светлейший князь и военный министр). Граф, оказавшийся

большим ревнивцем, испугался совершенно исключительного успеха жены, и вывозы ее в свет прекратились.

С этих пор Екатерина Александровна погрузилась в величавый индифферентизм, окруженная роскошью и вниманием мужа и благоговейным преклонением пред нею семьи. Сознание, что она спасла ее, заменило Катеньке личное счастье.

7.

В ту зиму Пушкин жил в Коломне. Двенадцать лет спустя, он писал в «Домике в Коломне»:

Я живу

Теперь не там, но верно мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову, — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

На самом деле молодой поэт, недавно тогда из Лицея, ездил к Покрову не столько «слушать русское богослуженье», сколько любоваться молодой графиней Стройновской, красота и трагическая судьба которой произвели на него сильное впечатление.

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право).
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво,
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу направо,
Все на нее...

Она казалась хладный идеал
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читал

Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб... В них-то я вникал;
Невольный взор они-то привлекали...
Но это знать графиня не могла,
И, верно, в список жертв меня внесла.

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода; хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фимиам, — она была несчастна...

«Пушкин с глубокой верой в человеческое достоинство и сердечным участием читал в лице молодой красавицы повесть долгой печали и невысказанных жалоб», писал в 1917 г. известный пушкинианец Н. О. Лернер, ныне покойный. «Отголосок этой повести мы находим в судьбе Татьяны Лариной, которая тоже «в семье родной казалась девочкой чужой», тоже испытала крушение своей первой девической любви, тоже вышла по расчету за старика и тоже честно и безропотно несла свой крест».

Другие изучатели Пушкина находят иные прообразы Татьяны или высказывают предположение, что в ней поэт вывел лицо собирательное, черты нескольких женщин, особенно поразивших его сердце и воображение. Спор, в сущности, бесплодный; точно доказать ничего нельзя. Но в силу всего рассказанного выше, можно с очень большой долей вероятия допустить, что основным прототипом Тани Лариной была именно Катенька Буткевич-Стройновская — так разительно сходство их жизней и так выпукло запечатлел поэт образ графини в «Домике в Коломне». Очень трудно допустить, что, описывая через несколько лет душевную драму героини «Евгения Онегина», поэт забыл так поразивший его образ графини.

Автор этих строк с чувством большого умиления допу-

скает возможность тождества этих двух женских образов: если оно существует, некая духовная нить соединяет его с кумиром его юности, Таней Лариной. Так как графиня ему не чужая: она была крестной матерью матери его жены, урожд. Марковой, в доме родных которой в Петербурге, он, среди семейных реликвий, много лет назад увидел чудную миниатюру, изображавшую графиню. В памяти запечатлелись: высокий открытый лоб, непогрешимой правильности черты изящного лица, высокая прическа темных волос, покатые царственные плечи и пышный бюст. Другими словами, я как бы вдруг увидал Татьяну Ларину. Свое радостное обнаружение я тогда показал Н. О. Лернеру. Из его статьи, написанной им по этому поводу, я и взял вышеприведенные его строки. Это было в самом конце 1916 года.

Катенька оставалась верна старику мужу 17 лет, пользуясь в течение этого большого срока репутацией безупречно честной жены: «но я другому отдана, и буду век ему верна». Пять лет спустя после свадьбы, она подарила графу дочь Ольгу, лицом вылитый портрет отца. Но было в этом милостивом лице что то болезненное с самых юных дней, какой то отпечаток старческой дряхлости. Девятнадцати лет графиня Ольга Валериановна вышла замуж за командира Гродненского гусарского полка, князя Д. Г. Багратион-Имеретинского. Она прожила с ним 11 лет и умерла в 1853 г. от чахотки. Современники рисуют ее одною из лучших женщин своего времени с светлым умом, страстно любившей искусство и литературу.

Конец жизни графа Стройновского был печальный: он неожиданно разорился. Довела его до этого страсть к ведению процессов. В сенате разбиралось очень крупное дело, в котором граф участвовал и в качестве судьи-сенатора, и — стороны. Противная сторона указала на это в жалобе, подан-

Новоселье

ной на высочайшее имя. В результате, граф потерял место, процесс и около миллиона денег. Пришлось продать роскошный петербургский особняк с богатейшей картинной галлеей и переехать в новгородское имение Нелюч в Старорусском уезде, которое в год свадьбы граф купил для своей Катеньки, чтобы она могла летом жить по соседству с своей семьей — имение генерала Буткевича находилось от Нелюча всего в нескольких верстах. Вскоре по переезде в деревню, в январе 1835 г., граф умер. Ему было 76 лет, Катеньке 36. Она осталась верна ему до последнего дня.

Год спустя, она вышла замуж, на этот раз по любви, за тульского губернатора, генерал-майора Зурова. Она все еще была красавицей: флигель-ад'ютант С. А. Юрьевич, сопровождавший наследника Александра Николаевича по России год спустя после ее свадьбы, писал своей жене: «М-те Зуров, бывшая графиня Стройновская, была хозяйкой и украшением бала; она, несмотря на продолжительное первое ее супружество со стариком, несмотря на шестнадцатилетнюю дочку, танцовавшую с великим князем на бале, все еще в полном смысле *belle-femme*».

От Зурова, губернаторствовавшего потом в Новгороде (где при нем служил советником губернского правления Герцен, ярко описавший его в «Былом и Думах»), у Екатерины Александровны было три сына: Николай, умерший в детстве, Александр, впоследствии свитский генерал, гродненский губернатор, петербургский градоначальник и почетный опекун, и дочь Мария, в замужестве княгиня Имеретинская.

Екатерина Александровна дожила до 68 лет. Могила соединила ее с первым мужем: она легла рядом с ним в склепе под церковью, построенной ею в Нелюче.

С. ДУБНОВА

В ПУТИ

Смеясь, следите с высокой палубы
Спокойный ход корабля.
Гляжу, мертвея, без слез, без жалоб,
Как никнет моя земля.

Вам — все живое, все — шум и всплески,
Звонящий сон наяву . . .
А мне б и мертвой лежать на Смоленском,
В сыром ленинградском рву.

Там желтый вечер василеостровский
Небесные жжет края,
Там бьется ветер жадный и жесткий,
Такой, как тоска моя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ

Приговоренный к жизни,
Не жди себе пощады:
Не обретешь в отчизне
Покоя и отрады.

К былому нет возврата,
И в сердце нет молитвы.
В суровом взоре брата —
Предвестье новой битвы.

Новоселье

В земле спаленной, черной,
В пустой свинцовой тверди,
Повсюду — зов упорной
Приговоренных к смерти.

НА РУБЕЖЕ

Пойми же, хоть жизнь стегает,
Хоть в горле ком,
Что мир шагает, шагает
Через Рубикон.

Блуждая, ища дорогу
Сквозь кровь и мрак,
Должны мы идти с ним в ногу,
За шагом шаг.

НАТАЛЬЯ КОДРЯНСКАЯ

ПОЛУСТАНОК

В низкой станционной комнате с наглухо закрытыми, несмотря на жаркий летний день, окнами — сидел гимназист Костя в ожидании десятичасового вечернего поезда, который должен был его отвезти в большой губернский город, где он через год кончал восьмой класс гимназии. Костя пил чай с блюдца, наливая его из стакана, и каждый раз обжигался, досадливо махал пальцами в воздухе и косился на дверь.

Глаша, племянница станционного смотрителя, девчонка лет пятнадцати, с хорошей темной косой, в которую была вплетена светлая ленточка, напоминала Косте и этой ленточкой в волосах, и тонкими чертами лица настоящую барышню. Глаша была одета в красное шерстяное платье, из которого давно уже выросла: от каждого быстрого ее движения оно больно жало подмышками, а от присутствия Кости она чувствовала себя в нем еще более неловкой и связанной, чем обычно. Она незаметным движением одергивала свое платье книзу и вдруг вспыхивала ярким румянцем, и была тогда чрезвычайно мила. Чуть не каждую минуту она вбегала за чемнибудь в комнату, где сидел Костя, громыхала чашками, стучала ножами и только потом брала нужную вещь, за которой ее посылали хлопотавшая с ужином на кухне тетка. Каждый раз, как Глаша появлялась в дверях, Костя на нее оглядывался, и она втайне мучилась, но вместе с тем уже по женски волновалась напряженной настойчивостью в костином взгляде, когда он смотрел как будто мимо ее слишком обтянутой груди. И каждый раз, вбегая в комнату, она все сильнее, все безнадежнее влюблялась в Костю :и потому, что у него была новенькая гимназическая фуражка с блестящим

Новоселье

гербом, и потому, что он ехал в незнакомый и для нее такой соблазнительный город, и потому, что она в первый раз в своей жизни была наедине с молодым мужчиной; и она не замечала, что у него некрасивое длинное лицо, бесцветные маленькие глаза и сутулая спина.

Как в угаре, она вбегала в комнату, деловито поправляла фитиль у лампы, которую давно уже не зажигали, опять гремела посудой, или долго и бессмысленно глядела, как на вымазанной клеем бумаге, свисавшей тонким жгутиком с потолка, жужжали и бились мухи, и как все новые кружились над ней, ища для себя места. Так как места уже не было, то они приклеивались к другим мухам лапкой или крылышком, беспомощно висели в воздухе, страстно бились, в надежде вырваться, и только еще больше вязли в липком желтом клее. И от их громкого жужжания и тщетных попыток освободиться, Глаша все больше дурела и влюблялась. Потом, очнувшись, она хватала первое, что ей попадалось под руку, и мчалась к тетке на кухню, чтобы через минуту опять красным вихрем влететь в комнату.

Косте скоро все это надоело. Допив чай и отсчитав столько медяков, сколько с него причиталось, он встал и вышел побродить в ожидании поезда.

На скучном дворике стояла пустая телега с оглоблями, уныло задранными к небу. Старая, полуслепая собака лежала на самом припеке и при появлении чужого даже не пошевелилась. Узенькой боковой дверцей Костя вышел на платформу, взглянул на круглые большие станционные часы и неприятно удивился, что еще так рано и что долго еще надо ждать поезда. По перрону разгуливал смотрительский козел Васька. Ему, видно, тоже было скучно и он все искал случая, с кем бы хорошенько подраться. Он остановился, как вкопанный, перед железными весами, долго глядел на них, попробовал даже слегка их боднуть, потом отскочил в сторонку и, наклонив голову немного набок, блестящей бусиной-глазом

с любопытством глядел, ожидая, что же будет дальше. Потом он так же серьезно направился к каким то длинным, завернутым в рогожу ящикам и стал их со всех сторон обходить. Полуголые грузчики на мокрых коричневых спинах таскали овес в новеньких холщевых мешках, и, под присмотром пьяного уже с утра артельщика, грузили его в вагон, стоявший на запасном пути. Тут же стоял приказчик и плачущим голосом упрашивал, чтобы этот вагон обязательно был прицеплен к вечернему поезду. Грузчики не отвечали, только хмуро поглядывали то на артельщика, то на приказчика, и думали с завистью про первого: вишь, счастливый чорт, — еще до вечера далеко, а уже пьян в доску! Им было невыносимо жарко и хотелось пить, а из единственного крана текла теплая, невкусная вода, образующая на земле грязную лужицу, в которой лениво расхаживали куры. Вскоре на перрон вышел смотритель. Он был без шапки, с запухшим от сна лицом. Постояв немного, он мрачно и с ожесточением стал чесать волосатую грудь. Недружелюбно поглядев на небо, решил, что опять ночью будет гроза и что придется под проливным дождем идти встречать курьерский. Вяло выругавшись — жара томила — он пошел обратно.

Перед козлом теперь стоял маленький серый котенок. Грациозным движением он поднимал одну лапку и тотчас же нерешительно опускал ее на землю. Вдруг, испугавшись чего то, он слетел с платформы и понесся прямо по шпалам вдоль полотна. Вдали тянулся молодой березняк, где так хорошо, должно быть, было полежать в тени.

Костя опять в сотый раз начал думать о том, что все время его мучило и что он тщетно старался от себя отогнать. Как это скверно вышло нынче с теткой. Заменявшая ему мать и заботившаяся о нем с самого раннего детства, в именице которой он и теперь проводил все каникулы, она оказалась непорядочной женщиной: у нее был любовник, их доктор, тот самый доктор, у которого Костя ребенком часто сживал на

коленях и которому доверял безгранично. И как он мерзко обманул его тем, что жил с его теткой! «Кой чорт», сказал он вслух, отпихивая ногой калитку станционного садика, куда он забрел, сам того не зная.

Садик был запущен; среди брошенной заржавелой домашней утвари рос бурьян, кое где торчали кустики одичавшей резеды, из трещин полопавшейся от жары земли вылезали на жирных стеблях в мохнатой зелени беленькие ромашки, слабо пахло укропом, а от распаренной почвы поднимался тошнотворный запах сорной травы, и такая тоска лежала на всем, что, казалось, сердце не выдержит. «Кой чорт», грубо повторил он, «меня дернуло открыть дверь в ее спальню, не постучавшись. Кой чорт», наслаждаясь и вместе страдая от этой своей нарочитой грубости, еще раз сказал он. Он понимал: то большое и нежное, что было между ним и теткой, нарушено навсегда; он не мог ее больше уважать; чувствовал, что и она не простит ему никогда, что он знает о ее связи... Войдя в комнату к тетке, где внешне все было как обычно, — Костя заметил, как с его приходом все стало вдруг неестественным и напряженным. Даже в позе доктора, стоявшего лицом к окну и слишком внимательно разглядывавшего пустой двор, было нечто неестественное. А в руках тетки, поднятых, чтобы поправить прическу, в ее знакомом с детства движении было что то новое. Он глядел, не в силах отвести глаз, на большую, смятую белоснежную подушку, лежавшую на кушетке, и от ужаса, от стыда и за них, и за себя, ему захотелось умереть тут же, на месте.

Он ушел к себе с твердым решением что то немедленно, сейчас же предпринять. Прежде всего уехать, как можно скорее. Он начал торопливо выбрасывать вещи из ящиков комода, книги из стола, и как попало впихивать их в чемодан. Оттого что вещи были набросаны небрежно, чемодан не закрывался, и Костя с наслаждением несколько раз ударил его в бок, как будто это было живое тело. Стянув, наконец,

кое-как чемодан ремнем и машинально оглянув еще раз комнату, не забыв ли чего, подошел к окну. Он постоял около него, глядя на залитый горячим солнцем двор, где в играх прошло его детство, и ясно почувствовал вдруг, что больше уже никогда не будет он так беспечно счастлив. Досадуя на себя, на тетку, на весь мир, он отошел от окна и в пыльных грязных башмаках, как был, повалился на постель и сразу заснул тяжелым, беспокойным сном.

Его каникулы кончались только через две недели, но когда в четыре часа к под'езду была подана бричка, как обычно, едущая с кемнибудь из домашних на полустанок за почтой, — Костя с самым независимым видом, как будто все, что произошло, его совсем не касалось, с чемоданом в руке вышел на крыльцо, решив уехать не попрощавшись с теткой. Но только он сел в бричку и кучер Фома начал старательно прилаживать его чемодан на козлах, как из дверей дома вышла тетка. Она легкой поступью сошла по ступенькам крыльца, и тут Костя впервые увидел ее совсем по иному: его больно укололо, как она еще молода, хороша собой, и какие у нее черные, блестящие волосы, разделенные строго посредине головы ровным пробором (вид этого пробора почему то еще больше раздражил его). Тетка крепко обняла его и, как в детстве, стала мелко и торопливо крестить, но поцеловала не как обычно — в губы, а в висок, и на прощание всунула в руку серебряный рубль. Бричка тронулась, собаки ленивой сворой пустились ее провожать до ворот, и большое облако, что стояло неподвижно и прямо над двором, начало отходить от Кости куда то в сторону, и он стал кулаком зло стирать набегавшие слезы. Бричка свернула направо, на проселочную дорогу, и кратчайшим путем повезла его к полустанку.

Начало смеркаться. Костя отошел подальше от станционного домика и уселся на откосе, спускающемся к железнодорожному полотну. Он долго сидел, ни о чем не думая и

Н о в о с е л ь е

ничего не видя. Стало немного легче дышать, гроза, повидимому, прошла стороной, и теперь трепыхала вдали зарницами. Запахло сильнее мятой и где то совсем близко затрещал кузнечик.

Внезапно Костя почувствовал около себя чье то присутствие. Он поднял глаза и почти у самого своего лица увидел две крепких босых девичьих ноги.

Перед ним стояла Глаша, глядя куда то в сторону, краснея и улыбаясь. «А я все думала, куда это вы ушли», наконец проговорила она, явно только для того, чтобы сказать что-нибудь. Костя молча смотрел на нее, на ее босые, утопающие в траве ноги, и ощущал неясное волнение, все растущее и усиливающееся, как сердцебиенье. «Что ж, присядь», стараясь казаться равнодушным, сказал он. Она села с готовностью и почти вплотную к нему. Он помедлил в нерешительности, потом обнял ее неловкой и вдруг задрожавшей рукой. Она не отодвинулась, не шелохнулась, и, полузакрыв глаза, продолжала улыбаться. И вдруг что то в этой ее готовности и в почти блаженной, полубессознательной улыбке с отвратительной отчетливостью напомнило Косте лицо его тетки, и он уже с недобрим чувством стал смотреть на перебегающие по глашиной щеке тени, чувствуя, как его волнение начинает переходить в досаду и даже в злость. Он резко встал, брезгливо порылся в кармане и сунул ей в руку теткин серебряный рубль, грубо зажав его в ее мягкую ладошку. Ни слова не сказав и не оглядываясь, он быстро пошел к станции.

И только уже в вагоне, когда поезд, раскачиваясь во все стороны и как бы угрожая каждую минуту опрокинуться, громко застучал по железнодорожному мосту, Костя при свете полыхнувшей зарницы вдруг все отчетливо вспомнил: и Глашу, так беспомощно ему улыбающуюся своим детским большим ртом, и ее испуганные, остановившиеся глаза, и как он с трудом зажал рубль в ее несжимающийся кулачок... И

Н. К о д р я н с к а я

ему стало страшно и до боли жалко и Глашу, которую он так глупо и грубо обидел, и себя, которого тетка этим же самым рублем навсегда оскорбила, унизила. Упав на лавку, он зарыдал, больно ударяясь головой о твердую спинку сиденья.

А в окно несущегося поезда глядела темная, пронизанная искрами и зарницами ночь, суля еще столько горя и незаслуженных обид.

ЖАН БЕНУА-ЛЕВИ

РУССКИЙ КИНЕМАТОГРАФ

Редакция «Новоселья» с удовольствием помещает оценку советского кинематографа, сделанную для журнала известным французским режиссером Жаном Бенуа Леви, ряд постановок которого пользовалось заслуженным успехом в Европе и Америке.

В настоящее время кинематограф является одной из основ духовного общения между Россией и Францией и продолжает традиции, в течение столетий сближавшие эти страны.

Русские и французские писатели и артисты и другие деятели искусства оказали друг на друга значительное влияние. То же надо отнести и к работникам кинематографа.

Нечего и говорить, что мы, французские кино-деятели, всегда относились с величайшим интересом к работе наших русских братьев. Наши мысли и сердца настроены согласно, и вполне естественно, что друг у друга мы всегда находим отклик.

Я никогда не устаю повторять, что кинематограф может стать интернациональным искусством только в том случае, если, прежде всего, он будет искусством национальным. Как и всякое другое искусство, кинематограф является продуктом окружающей среды и культуры страны, в которой он развивается.

Если хочешь быть хорошим гражданином мира, то прежде всего ты должен быть хорошим гражданином своей страны.

Но всякий фильм невольно приобретает интернациональное значение, если основная его идея интернациональна. Идея материнства, человеческого сочувствия, нежности, любви к своему делу, к родине, — это идеи, общие всем.

Если автор какогонибудь фильма остается верен самому себе и искренно выражает свою сущность, — то ему удастся перешагнуть границы своей национальности тем самым, что

он служит всечеловеческой идее, в которую вкладывает свое собственное понимание.

Конечно, у кинематографа имеются свои задания, и, как и у всякого искусства, у него есть несколько видов, которые надо различать. Прежде всего, это искусство, самым тесным образом связанное с конкретной жизнью, близость к которой делает его исключительно мощным средством передачи человеческой мысли.

Эти идеи, наскоро излагаемые мной в настоящей статье, представляются мне коренными основами кинематографа. Я считаю, что русские артисты точно следовали этим принципам.

Русский кинематограф построен из человеческого материала, из фактов обыденной жизни, из личностей и масс. Он интернационален, потому что всегда остается глубоко национальным и почти всегда служит великим общечеловеческим идеям. Моя оговорка относится только к некоторым фильмам, так сказать, местного значения, ограниченным интересами среды, непосредственно окружавшей автора.

Подобно тому, как некоторые стихи пишутся только для кружка близких знакомых, так и некоторые фильмы создаются для определенной страны. Но в таких случаях разумнее было бы воздержаться от более широкого распространения таких произведений.

Но, вообще говоря, русские фильмы получили самое широкое распространение благодаря тому, что основные идеи их выходят из пределов национальных границ. Эти идеи возникли в результате происшедших с русским народом глубоких перемен, потрясших весь мир.

Я представляю себе, что если бы в 1789 году существовал кинематограф, он, конечно, не сумел бы остаться вне влияния Французской Революции.

Без выдающихся людей, создавших и направлявших его развитие, русский кинематограф не мог бы никогда стать таким, каков он есть сейчас. Надо, конечно, учитывать и определенные условия работы, созданные для него государством.

Никакое искусство не может существовать без техники, и кинематограф — меньше, чем какое либо другое из искусств.

В Советском Союзе моральное и материальное обеспе-

Н о в о с е л ь е

чение молодых работников искусства было взято на себя государством. При этом надо помнить, что ни творить, ни передавать свой опыт другим нельзя без предварительной стадии индивидуальной работы. Выдающиеся работники русского кинематографа имели такую возможность, равно, как и свободу высказывать и обсуждать свои взгляды. Такие обсуждения протекали подчас довольно бурно, но всегда давали творческие результаты.

Наконец, автор фильмов (т. е. человек, пишущий или составляющий сценарий, крутящий и монтирующий фильм) располагал в России средствами обдумать и осуществить свой замысел. Прежде чем воплотить его в конкретные формы, у него была возможность, написать, перечитать и изменить написанное. В его распоряжении не было, может быть, самой современной техники, но зато он обладал человеческим материалом, сотрудничеством масс и временем.

Мои дорогие русские собратья, поверьте мне, все эти блага очень трудно получить в других странах. Я не хочу преуменьшать ваши личные заслуги, слишком хорошо зная по опыту все трудности, сопряженные с работой в области этого искусства, являющегося одновременно и промышленностью, в которой отвлеченная работа все время должна сталкиваться с механикой.

Все это было мужественно предпринято и прекрасно выполнено, при чем вам удалось добиться постоянного улучшения качества выпускаемых фильмов.

Кулешов, Трауберг и Козинцев научили молодежь гордиться своей профессией и внушили им дисциплину, необходимую для технического оформления фильма и его монтажа. Своих учеников они заставили добиваться чистоты формы.

Дзига Вертов осуществил одно из заданий кинематографа, состоящее в регистрировании окружающего. Его «кино-глаз», который запечатлевал конкретную реальность, в действительности давал только голую правду, поэзию обнаженных сущностей. «Кино-глаз» ведет к жанру, который меня особенно привлекает, так как я верю в огромное значение кинематографа для научных исследований.

Эйзенштейн стоит во главе школы широких национальных фресок, духом которых он заразил весь мир. Строя свои кадры с помощью чувства масштаба и объема, он достигает исключительной рельефности. Артист неподдельного вдохно-

веня и мастер техники, он является примером и образцом для молодежи. От «Броненосца Потемкина» до «Александра Невского», он — поэт родной истории, эпопея которой, надо надеяться, вдохновит его и в дальнейшем еще не на один шедевр.

Пудовкин представляет натуралистическую школу. Уже в 1927 году он дал нам «Мать» Горького, этот образец выразительного искусства, каким был кинематограф до того, как его наделили словом.

В 1929 году появилась «Буря над Азией», которую я снова увидел в 1939 году, незадолго перед войной, в Париже, в Musée de l'Homme. Несмотря на огромный технический прогресс, происшедший со времени выпуска этого фильма, «Буря над Азией» не устарев выдержала эти десять лет: все те же чувства волновали зрителя, все так же он отзывался на яркие проявления творческой тонкости режиссера.

У кинематографа есть свои классические произведения. Они останутся жить потому, что основные идеи, вложенные в них вечны и универсальны.

У меня к сожалению нет возможности остановиться в этой краткой статье на всех выдающихся деятелях русского кинематографа, среди которых я все таки упомяну Рошаля (автора «Петербургских Ночей», исключительного мастера стилизации), затем Петрова, Васильева и др.

Но я не могу не отметить еще Экка, который чуть не довел меня до отчаянья.

Я видел в Париже его фильм «Путевка в жизнь», как раз перед тем, как начать работу по постановке «La Mernelle».

Я был так потрясен этим шедевром, что чуть не бросил своей работы, думая, что мне уже ничего не остается сказать. Я ошибался тогда: мы оба можем служить той же цели, пользоваться тем же языком — кинематографом, — и все же оставаться разными, благодаря своим национальным особенностям.

«Путевка в жизнь», которую я не хочу обсуждать наспех, это действительно перл, могущий выдержать испытание временем.

Этот фильм является для меня образцом, которым я пользуюсь, когда хочу выразить свое понимание нашего искусства и нашего ремесла.

Н о в о с е л ь е

Если бы эти заметки претендовали на полноту, мне пришлось бы коснуться войны, отражением которой занят теперь русский кинематограф.

Я хотел бы убедить моих русских собратьев, чтобы они ревниво охраняли свою оригинальность и не шли ни на какие уступки из так называемых коммерческих соображений.

По этому поводу мне хочется сказать, что «деловой» конец замечательного фильма «Девушка из Ленинграда», которого, конечно, не было и в помыслах у автора, вызвал у меня самое тяжелое чувство.

Я также хотел бы обратиться к руководителям русского кинематографа с просьбой не позволять переделывать в голливудском стиле свои шедевры, рожденные из глубин русской души, выстраданные и выраженные русскими исполнителями. Даже при наличии самых лучших намерений, такие переделки невольно искажают весь фильм.

Я люблю Голливуд за все прекрасные фильмы, вышедшие оттуда, но повторяю еще раз: кинематограф, это — создание национальное, и оно не может стать универсальным, не нося определенных черт какого нибудь определенного места на земном шаре.

В заключение, я хотел бы еще сказать моим русским собратьям от имени своего и своих французских коллег, — что мы вполне разделяем их любовь и веру в искусство, служить которому все мы стараемся.

Мы выражаем этим мастерам наше глубокое восхищение перед изумительной эпопеей русского народа, которую они сумели так прекрасно выразить контрастами черного и белого на экранах стран, еще оставшихся свободными.

МАРК СЛОНИМ

РОССИЯ И ЕВРОПА

Я всегда с большим интересом слежу за реакцией иностранного общественного мнения на победы русского оружия или на заявления московского правительства о международных проблемах. Всякий раз, как советские войска продвигаются на Запад, в некоторой части англо-американской прессы, а также и в известных кругах анти-коммунистической эмиграции появляется смутное беспокойство: а не окажется ли Россия черезчур сильной и не потребует ли она слишком значительного места на будущей мирной конференции? Достаточно Москве выказать интерес к борьбе во французском Национальном Комитете или заявить свое враждебное отношение к итальянской династии или создать Комитет Германских Эмигрантов, манифест которых взволновал Вашингтон и Лондон, чтобы во всем этом пытались усмотреть злые козни Кремля и угрозу делу мира и демократии.

И дело тут не только в призраке коммунистической революции, которой пугает легковых германская пропаганда. Вопрос серьезнее и глубже: речь идет о роли России в Европе.

Очень многие иностранные политические деятели и журналисты еще до сих пор не сознали этой роли. Они слишком часто забывают, что Россия — европейская держава, и более того, самая сильная и крупная — на европейском континенте. А это значит, что никакой прочный послевоенный порядок невозможен без согласия на него России и что ни одна европейская проблема не может быть разрешена без активного участия Москвы. Это совершенно очевидный и простой факт, и с ним надо считаться, независимо от того, нравится ли это или нет людям, относящимся к СССР с подозрением, страхом, недоверием или враждебностью. Сто тридцать лет тому назад это отлично понимал Наполеон, пришедший к выводу о необходимости завоевания России для безпрепятственного владычества над Европой. Поход 1812 г. мог казаться ненужным наполеоновским маршалам, но он был естествен-

ным завершением всей мировой политики Бонапарта.

Часто говорят, что Гитлер совершил глубочайшую ошибку в июне 1941 года, напав на Советский Союз. Ему де следовало сперва покончить с Англией. Но никакой ошибки тут нет: Гитлер прекрасно сознавал, что Россия, а не Англия — ключ к Европе. Англия — островная держава, принужденная для своего влияния на Европу пользоваться союзными европейскими государствами. А Россия по своей территории, народонаселению, природным богатствам, физической мощи и духовной энергии — занимает исключительное место на континенте, — не говоря уже о том, что она соединяет Восток и Запад.

Об этих прописных истинах старались забыть после первой мировой войны, и в Версале строили европейский порядок, скидывая Россию со счетов. Тогда воспользовались и Брест-Литовским сепаратным миром, исключившим Россию из рядов союзников, и революционными потрясениями, повергшими огромную страну в «инобытие», по выражению евразийцев. При этом не учитывали ни жертв, понесенных Россией за три года войны с Центральными Державами, ни спасительной роли, сыгранной ею в 1914-17 году: ведь и Версаль стал возможен только благодаря тому, что сотни тысяч русских солдат пали на Восточном фронте, изматывая военную мощь Германии и Австрии. Не думали и о том, что ослабление России в результате революции — временное и что возвращение ее в Европу — неизбежно.

Гибельные последствия этой политики сказались очень быстро. Без России нельзя было построить Европы и прочного мира, а когда это стало ясным, было чересчур поздно: на пороге стоял Гитлер со своими бронированными дивизиями. Впрочем, даже и в самые критические моменты последних лет, и до, и во время Мюнхена, ряд европейских деятелей пытался «не пускать» Россию в Европу, толкая ее на Восток. Были даже созданы целые теории об ее «азиатской сущности», соблазнившие и некоторых русских публицистов. Теория о близости России к Востоку, о ее психологической, идейной и культурной отдаленности от Запада служила отличным философским фундаментом для анти-русской политики, требовавшей изгнания СССР из Европы.

А сколько тогда приходилось читать рассуждений на тему о разрыве между «большевистской Россией» и европей-

ской цивилизацией, о противопоставлении германо-романского мира русскому скифству и о естественном возвращении московского государства к до-петровской обособленности.

Я не хочу останавливаться на одном парадоксальном явлении: именно в этот момент изоляции Россия, через русскую революцию, постоянно присутствовала в Европе, и ее влияние на умы и сердца достигло необычайной силы. Ее уход был мнимым. Причина его коренилась не только в размахе и притягательной силе того социально-экономического переворота, который совершался в бывшей империи. Суть заключалась в том, что Россия — сама часть Европы, и материально и духовно. Россию нельзя отдельно от Европы мыслить, и их противопоставление нарушает и законы логики, и факты истории. Наша культура нерасторжимо связана с европейской, рядом с Толстым оказывается Руссо, рядом с Достоевским — Ницше. И именно Достоевский отлично знал, что европейская цивилизация — не «ихнее», а наше, потому что мы равноправные члены этой семьи, сыны второго отечества. Не Русская Голландия, а Россия была сбита страшным, но великим усилием амстердамского плотника, и напрасно рассуждаем мы, правильно или ошибочно было его дело: уже третий век плывем мы в том едином европейском потоке, в который бросил нас Петр.

Говорить о значении России в европейской цивилизации 19 века — не приходится, слишком уж это общеизвестно. Но почему то мало уделяют внимания тому факту, что взаимодействие Запада и России совершенно не прекратилось, как это думают некоторые наблюдатели, за последние четверть века. Русские коммунисты могли бы ответить своим европейским противникам, что они нынче экспортируют за границу идеи и лозунги, пришедшие из Европы и лишь переделанные на русский лад. Благодаря индустриализации и ряду социально-экономических изменений СССР сейчас ближе к европейским формам жизни, чем царская Россия. А духовная связь с Западом, несмотря на все рогатки, трудности личного общения, полицейские ограничения и отсутствие свободы, в Советском Союзе продолжает быть очень живой и напряженной. Тем, кто об этом не подозревает, следовало бы ознакомиться хотя бы с огромной литературой о западе, с многочисленными переводами современных европейских писателей, выходящих в России многотысячными тиражами, — не гово-

ря уже о тщательном изучении классиков и всего прошлого европейской культуры. Не о разрыве современной России с Западом, а обо все усиливающейся ее связи с ним следовало бы говорить сейчас, и самое любопытное, что к европейской культуре приобщаются те самые азиатские окраины государства, влияние которых, по ошибочному мнению некоторых русских публицистов, свидетельствует чуть ли не о монголизации нынешнего советского поколения. На деле происходит европеизация Востока, и проводником европейской культуры и в Туркестане, и в Сибири, и на китайских границах является именно Россия с ее прогрессивным влиянием.

В политической жизни Запада Россия занимает не меньшее место, чем в культурной. Об этой ее роли можно было бы рассказать не мало интересного, даже углубившись в даль веков. Но явное участие России в европейских делах за последние два с половиной столетия — факт неоспоримый. Петровские войны с Швецией основной факт международной политики Новой России, утверждающей себя в качестве европейской державы и намечающей одну из главных сфер своего влияния на Западе. Весь 18 век — продолжение этой политики, решительный и боевой приход России в Европу, вплоть до появления суворовских солдат на Альпах. Отечественная война 1812 г., имеющая много аналогий с нынешней, окончательно и безповоротно определяет роль России в Европе, как великой державы.

Подобную же роль Россия приобретает и сейчас. Война с Гитлером не только ликвидирует ее временное отсутствие из Европы, но и дает ей прочные основания для почетного возвращения. Это право она получила не дешево: за решающее значение в победе над Германией она заплатила и продолжает платить страшную цену крови и разорения. Новый Версаль немислим. Отлучить Россию от Запада никому не удастся.

Совершенно законно и понятно, что политика России и ее требования явятся основным фактором в устройстве Европы, а особенно Востока и Юго Востока континента. И это не только потому, что она понесла бесчисленные жертвы, или потому что ее пространства, население и энергия подкрепляют силу ее голоса. Этого требуют интересы русского народа и государства. Коммунизм или «красный империализм», о котором любят болтать газетчики, тут совершенно не при чем.

Какое бы правительство ни сидело в Кремле, оно принуждено было бы в первую очередь позаботиться о безопасности России и создать такие международные условия, при которых над страной не нависала бы каждые двадцать пять лет угроза новой войны с немцами. Вопрос о том, что делать с Германией, конечно, интересует и Англию и Америку, но он в еще большей степени интересует СССР, находящийся в непосредственном к ней соседстве и под прямым ее ударом. Предполагать, что, напр., будущий внутренний режим в Германии будет решен в Лондоне и Вашингтоне, значит, тешить себя утопиями. Ведь всякому ясно, что контроль над Германией выпадет, главным образом на долю России, хотя бы из соображений географического порядка. И столь же очевидно, что Россия имеет гораздо большие основания, чем ее союзники, определять судьбы Польши, Румынии, Венгрии и всего юго-востока Европы, с которым она непосредственно связана. А раз это так, то нечего каждый признак активной советской политики в этих областях расценивать то ли, как нелояльность по отношению к союзникам, то ли как хитрые происки творцов коммунистической революции. По ряду причин, о которых я не могу здесь распространяться, следует предположить, что в данный момент кремлевское правительство менее всего занимается именно вопросом о всемирной революции. Проблема безопасности, прочного европейского порядка, гарантирующего мир и возможность восстановления разрушенных областей, хозяйства и нормальной жизни, вероятно, составляют в данный момент главную его заботу. Это отнюдь не исключает того, что СССР будет поддерживать в будущей Европе все резко анти-фашистские «левые» режимы — точно так же, как на Венском конгрессе 1815 г. Александр Первый поддерживал троны и алтари. Быть может, один из парадоксов истории приведет к тому, что именно СССР окажется в Европе основной опорой демократий. И если союзники будут стремиться к установлению истинно демократических режимов в освобожденных странах, то им не придется вступать в споры с Россией, и опасность противоречий в стане победителей будет изжита.

Но для этого надо считаться с фактами и трезво смотреть на действительность, диктующую непреложные выводы. Один из них — неизбежная огромная, зачастую руководящая роль России во всех европейских делах после войны.

ВИНСТОН ЧЕРЧИЛЬ

Утверждать величие Винстона Черчила было бы праздным занятием. Что он великий человек, так же неоспоримо и общепризнано, как то, например, что Лондон—столица Англии, или что Англия — остров, окруженный морями. Может быть, менее банальным будет замечание, что военные успехи Англии в течение последнего года лишь в самой незначительной степени возвысили престиж ее первого министра. Блеск британской стратегии, боевые удачи британского оружия в воздухе, на морях и на суше создали только, пожалуй, более светлую перспективу, в которой образ этого замечательного человека мог получить больше рельефа. К тому же людям стало от них легче и веселее жить — в таком настроении они больше расположены к безмятежному любованию индивидуальным величием. Но ни на йоту меньше ростом был Черчилль в горькие дни осени 1940 года, когда он мог обещать своей стране только «кровь, пот, труд и слезы». Не на победной славе вззошло его величие.

Одна еще особенность привлекает в личной судьбе Черчила. Он — государственный деятель; между тем, не как государственный исключительно и не преимущественно как деятель, снискал он высокое признание всего культурного человечества. В нем, прежде всего, восхищает гениальная личность. Эта крепкая голова бульдога, в которой, подо лбом мыслителя, среди глубоких морщин плотского лица, светят умом, чувством, иронией, лукавством пронзительные и добрые глаза, принадлежит не только политике, военному стратегу, водителю людей — в такой же мере принадлежит она тончайшему из современных интеллигентов Англии, величайшему из ее ораторов и самому блестящему ее журналисту. Следует еще добавить — остроумнейшему из салонных собеседников Лондона, острейшему из его эпиграмистов. В застойной беседе, подогретой вкусной пищей и вином, словечки Черчила, по свидетельству людей его круга, взлетают как пробки от шампанского. Явление исключительное!

«Природа наделила», конечно, соблазнительное объяснение. Недаром эти слова сделались у нас такими ходкими. Но, право, не в одной природе тут дело. Цветы растут из земли, но над орхидеей высшего типа не мало, в течение поколений, поработали искусные садоводы. Черчилль не самородок. Он наследник очень богатой, очень сложной и очень утонченной культуры. Во времени и пространстве его удел необозрим. Его личный подвиг в том, что это огромное наследие он сумел целиком вместить, прочувствовать, продумать, понять, оценить, отвезть в нем зерна от шелухи и возвести в живое единство, гармонирующее с нашей эпохой. Дарам, полученным от отошедших столетий, от предков, давно истлевших в старинных мавзолеях, он придал свежесть новизны и трепет современности. Черчилль человек XX века.

Его стиль, как оратора и публициста, не мог бы быть более современным. В нем есть острота нашего нервного и кипучего времени. Импрессионизм его речи не зыбок и не туманен, он имеет почти кубистическую выпуклость и ковку. Его сарказм, его ирония, его юмор по современному молниеносны — два-три слова, как бы мимоходом, и стрела вонзилась в мишень. Ни одной старомодной фразы, отдающей молью, белокровной. Каждое слово полно жизни, волнений минуты, злобы дня, и как будто только что родилось, возникши из пены последней волны. Могли бы иногда показаться архаическими образы, заимствованные от явлений природы — тени, мрак, свет, огни, зори, — но Черчилль пользуется ими так кстати, так освежает их оттенкам собственного живописания и серьезного лиризма, что они воспринимаются, как оригинальное творение поэзии. Стиль Черчиля — Черчилль, без всякой оговорки. Между тем, очевидно, что в корне этого изумительного личного таланта лежит наследие самых плодородных эпох всемирной литературы. Библия и елизаветинская литература во главе с Шекспиром, французский XVIII век, английский эссеизм и парламентское красноречие Англии XIX века — вот тот княжеский удел, которому Черчилль наследовал и который воспитал этого Рембрандта английской трибуны и английской публицистики.

Необычайно широк и пространственный горизонт, который история развертывает перед воображением даровитой личности британца — Империя, над которой никогда не заходит солнце! Лишние молодые люди, любители экзотики и

филантропы миссионерской закваски, нередко авантюристы, идут в эти далекие края служить, работать, богатеть. Практические купцы без особого воображения, но с порядочной долей расчета и здравого смысла посылают туда ситцы и ткани английского изделия и оттуда ввозят сырье, специи и дорогие куриозы. Укрепляют английскую промышленность, дают работу английским рабочим и копят состояния. Для людей, типа Черчила, Британская Империя — нечто совсем другое. Это Англия, широко расправившая свои крылья и реющая над далеками океанами. Это видение величия и славы, миссия всемирного значения. Британский остров слишком тесен, слишком мал для великого народа, поприще это слишком узко для его деятельного духа. В Вестминстере достаточно мысли, энергии, света, гения, чтобы ими одухотворить и осветить бескрайные материки целого полушария.

Британская Империя для людей типа Черчила не холодная выдумка бюрократии, не случайный приз игроков и беспоконных искателей счастья; это медленное, естественное, почти произвольное раскрытие британского государственного инстинкта в экспансивном действии. Поэтому Империя — драгоценнейшее достояние англичанина. Без Империи Англию пришлось бы писать через маленькое а. Зачах, заснул бы ее гений, притупилось бы ее воображение, измельчал бы тип ее людей.

Империализм дал Черчиллю всемирно-исторический масштаб политического мышления. Он потому так пронзительно и так точно понял угрожавшую Англии опасность, когда другие английские правители еще дремали в неведении, что глубже их, страстнее и идеальнее сознавал исключительную ценность великобританского надела. Для Черчила Британская Империя не только «драгоценнейший камень в короне английского короля», как для многих других империалистов, но еще и талисман. А за талисман сражаются неистовее, чем за богатство...

Англия могла, с одинаковой опасностью для жизни, быть уязвлена двояко — в центре и в периферии. Лондон мог обессилеть от падения Империи; Империя могла распасться от поражения Лондона. Отсюда это безмерно-героическое напряжение воли 1940 года, когда судьба Англии висела на волоске. Уже тогда Черчилль, наследник империалистической традиции Англии, знал, что малейший компромисс врагу, ма-

лейшая ему уступка — гибель безвозвратная: остановится сердце или будут парализованы ноги. Исторической Англии придет бесславный конец. И тогда он, от имени каждого англичанина, произнес слова, которые каждый англичанин понял инстинктом и нервами: мы будем сражаться на каждом из наших пляжей, мы будем защищать каждую улицу каждого города. Сам Черчилль возглавлял бы защиту маленькой улочки у Вайтхолла, Даунинг-стрит. Он это обещал, он это исполнил бы, там он пал бы смертью англичанина, поклявшегося никогда не быть рабом...

Отвращение к рабству, инстинктивное и сознательное, проникающее все существо человека, является самым сильным побуждением к борьбе с диктатурой, независимо от того, приносит ли она пользу или вред материального свойства. Оно свидетельствует о таком культурном состоянии, при котором человеку так же нестерпимо господствовать над другими против их воли, опираясь на голую силу, как ему нестерпимо такому насилию подчиниться. В диктаторе, под тогой цезаря, таится способность быть рабом. Диктатор по вкусу — не сверх-человек; он примитивен, он варвар. Можно ли на одну минуту вообразить Черчиля диктатором? Он счел бы унижительным для себя возглавлять нацию, не пользуясь ее искренним доверием. Это демократизм, но и нечто еще более важное — это самоуважение. И когда Черчилль, как выразитель души Англии, борется за свободу своей страны, он в то же время с такой же страстью борется против диктатур, на эту свободу посягающих. Битва за Англию естественно сливается с битвой за свободное человечество.

Таким был Черчилль всю жизнь. Трагедия войны дала ему случай проявить себя во всей полноте, во всем блеске, во всей силе своей исключительной личности. И это произошло потому, что Черчилль всегда был **народом Англии**, как английский народ бессознательно, может быть, всегда **был Черчилем**: обладал сильным культурным и государственным инстинктом, непоколебимой волей и практическим идеализмом. Не случайно и не по недоразумению Черчилль в настоящее время общепризнанный вождь английского народа — этого, в сущности, не отрицают самые левые из его парламентских и вне-парламентских политических противников. Сам Гарольд Ласки, который, кажется, самого Господа Бога заподозрил бы в недостаточном социальном демократизме, только на днях,

в одной из очередных своих статей, публично и искренно, совершил обряд обязательного снятия шапки перед величием Черчиля...

Аристократ и консерватор, Черчилль, не торопясь и без суетных жестов, идет в ногу со своей эпохой. Он знает, что английский народ, бесповоротнее многих других народов, принял решение закончить эту войну радикальным переустройством социального строя Англии. Его это нисколько не смущает. Что английские дюки обеднеют, что Бельгравия и Мэйфер потеряют свой роскошный блеск, его печалит менее, чем многих испытанных и сердобольных иноземцев. Вот, если бы ему сказали, что англичане поглупеют, сделаются менее просвещенными, забудут науки и искусства, потеряют свой великодержавный дух — это его омрачило бы до отчаяния. Самые глубокие реформы его едва ли пугают — ему только важно, чтобы они были проведены обдуманно, разумно, без демагогии и глупостей. В недавней речи он сам рисовал социально обновленную в будущем Англию.

Многообразны и велики таланты Черчиля. Но в каждой замечательной личности бывает то, что в музыке называют скрипичным ключом — один какой нибудь знак, который дает единство и тон сложным частностям. Что в Черчиле является этим знаком? Что выделяет его из сонма других людей его же типа? Что усиливает его блеск, его престиж, его шарм? Это, без всякого сомнения, его **самосознание**. Как никто другой, он в Англии чувствует себя стократ дома. Это его Англия. На первом месте правительственной скамьи в палате общин он чувствует себя так же уютно, естественно, свободно, как в кресле своего собственного кабинета. Свободным он чувствует себя и в Букингемском Дворце. Нет в Англии такого собрания нотаблей, в котором Черчилю было бы в каком нибудь отношении неловко. Никто его затмить не может! Ни в кругу аристократов, ни на форуме государственных людей, ни на арене искусства и ума. Он, Черчилль — прямой потомок герцога Малборо (по русски Мальбрук). Его имя пестрит на каждой странице английской истории. Сколько Сарр Черчилей блистало при дворах английских королей! Сколько Черчилей среди знаменитых повес старых времен! Сколько предков его в палате лордов и в палате общин! Среди простых солдат и моряков, среди лондонских кокнэй Винстон Черчилль не менее дома. Он вместе с ними

сражался в Южной Африке, он знает их аргю, не хуже, чем сонеты Шекспира и стихи Мильтона. Он рискнет своей жизнью не менее бесстрашно, чем любой пилот воздушной армии — и все это знают. От этого сознания, в Черчиле столько уверенной простоты, столько самоуверенности хорошего тона. От этого так свободно и так безмятежно его красноречие: он всегда говорит в кругу семьи, ее избранник, ее любимец.

С. ЛИБЕРМАН.

ИЗОБРЕТАТЕЛИ И ПРОЖЕКТЕРЫ

Настоящий очерк взят из готовящейся к печати книги воспоминаний С. И. Либермана, бывшего в первые годы революции одним из руководителей лесной промышленности в России.

I.

В 1918-1920 гг. в квартире Ларина постоянно толпились так сказать маленькие Ларины, являвшиеся к нему с самыми невообразимыми предложениями и проектами. Тысячи людей, опьяненных революционной бурей, почувствовали в себе необъятные силы и верили в то, что могут смаху, в молниеносном порядке, разрешить самые сложные хозяйственные вопросы. Многие из них предлагали новой власти совершенно изумительные открытия или изобретения. Мне часто приходилось сталкиваться с этими прожектерами и изобретателями, и их необыкновенные приключения, столь типичные для фантастических условий жизни эпохи военного коммунизма, могли бы составить любопытную главу истории первых лет советской власти.

Советские прожектеры 1918-1920 годов были в огромном большинстве дети крестьян и рабочих. Они не имели серьезного образования, но зато обладали революционной горячностью и преданностью делу коммунизма. Многие из них успели отличиться на фронте в гражданской войне. А теперь их обуревала какая-нибудь идея планетарного значения, и они были убеждены, что их изобретение способно в мгновение ока произвести чудеса; с непоколебимой верой они храбро шли в атаку на самые опасные участки хозяйственного фронта. К некоммунистическим деятелям они относились с недоверием и подозревали их во всевозможных кознях.

Мое ведомство естественно притягивало изобретателей

всяких усовершенствований для лесного хозяйства, в особенности таких, которые делали возможной экономию хлеба. Мне приходилось почти ежедневно принимать изобретателей и «планщиков», являвшихся с рекомендательными письмами от разных народных комиссаров. Каждый приносил свой проект и рассматривал его, как важную государственную тайну. Изложению его обычно предшествовало красноречивое выступление.

— Революционная Россия, — начинал какой-нибудь изобретатель, — имеет своих сынов на фронтах, где они воюют и умирают за нее. Но она имеет и своих гениев, которые могут принести то новое и великое, что поможет победить контр-революцию.

Затем он очень пространно объяснял сущность своего изобретения, которое по большей части, увы, не имело никакого практического значения...

В конце 1919 года, когда мы бились над разрешением трудной проблемы о топливе, лесных заготовках и перевозке дров, в наше учреждение позвонил председатель ВЧК, Дзержинский.

— У меня сидит сейчас молодой товарищ, только что приехавший с фронта. Он может облегчить дело заготовки топлива. Примите его, выслушайте его внимательно и доложите мне завтра. Это талантливый молодой товарищ, который завоевал на фронте имя хорошего коммуниста и бойца.

Мое учреждение находилось в трех кварталах от ВЧК, и уже через несколько минут ко мне вошел очень стройный молодой человек, в военной форме, весь в коже — от фуражки до сапог, и с огнем в глазах. Не говоря ни слова, он запер дверь на ключ и, подойдя к столу, спросил меня:

— Вы член партии?

Узнав, что я не член Коммунистической Партии, он бросил ключ на стол, вынул из кармана револьвер и положил его рядом с ключом. Потом он достал объемистую клеенчатую тетрадку и, также положив ее на стол, обратился ко мне со следующими словами:

— На фронте у нас все идет хорошо. Мы умеем умирать за новый строй. Но в тылу все идет плохо, ибо там сидят чужие нам люди, часто изменники. Мы, коммунисты, должны не только сражаться, но и творить. И вот по ночам, не досыпая, я занят был мыслью об увеличении запасов топлива,

Н о в о с е л ь е

так как без этого Деникин нас возьмет голыми руками. Решение этого вопроса в этой книжке, и вы должны немедленно приступить к осуществлению моего плана.

Я осторожно попробовал приоткрыть книжку и к ужасу моему увидел десятки страниц разных логарифмических и других математических вычислений. Тогда я мягко попросил изобретателя вкратце изложить мне основную идею его изобретения. Он объяснил мне следующее.

Он изобрел небольшой мотор, который нужно подвесить каждому рабочему, занятому рубкой деревьев в лесу. При падении первого срубленного дерева, мотор аккумулирует энергию падения и, таким образом, при дальнейшей рубке, благодаря накопленной механической энергии, от рабочего требуется ничтожная затрата его физической силы. В результате, для пропитания рабочих потребуется, соответственно меньше затраты сил, и гораздо меньше продовольствия.

Сразу было видно, что это одно из тысяч изобретений, известных в истории под названием «перпетуум мобиле». Его нереальность и фантастичность были мне совершенно ясны. Но я почувствовал, что если я как-либо выкажу свое откровенное отношение к этой чудесной находке, то револьвер, лежащий на столе, не останется в бездействии. Поэтому я сказал, что предложение очень интересно, и его надо проверить на практике. А чтобы охранить его от предателей, тетрадь можно запереть в мой железный шкаф, ключ от которого я предложил ему взять с собой. Завтра мы устроим в его присутствии совещание со специалистами-инженерами.

Он позвонил в ВЧК и спросил, может ли он доверить мне свою тетрадь до утра; ему ответили утвердительно, и он, оставив тетрадь, ушел. После его ухода я позвонил Дзержинскому и изложил ему сущность изобретения. В голосе Дзержинского я почувствовал легкое разочарование:

— Странно, наша техническая комиссия, рассмотревши это предложение, нашла его серьезным и сочла необходимым направить его для осуществления в Центральное Лесное Управление.

Я знал, чем это пахло в те времена: дело могло ведь кончиться обвинением меня в сознательном саботаже. Поэтому я из осторожности снесся еще и с А. И. Рыковым и попросил его передать весь проект на рассмотрение Научного Комитета.

Другой изобретатель, с которым я имел дело, поднялся, было, очень высоко по ступеням советской иерархии. Его проект вызвал тот эпизод, который значится где-либо в советских архивах под названием Главшишки. Он наделал в свое время много шума.

Однажды ко мне обратился председатель Главного Лесного Комитета Ломов и попросил меня принять и выслушать тов. Равиковича, посланного к нему Лениным. Ко мне явился человек лет 35-ти, который начал так:

— Я старый большевик, по профессии дантист. А сейчас работаю на фронте. Я знаю, что судьбы революции зависят от обеспечения страны топливом, и вот я пришел к следующей идее. У нас, в Волынской губернии — я происхожу из Коростышева — прекрасные хвойные леса. Когда я отдыхал на даче и лежал в гамаке, сосновая шишка ударила меня по лбу. Я заинтересовался этим вопросом и, после долгого изучения, пришел к выводу, что, так как у нас 365 миллионов десятин леса и на каждой десятине столько-то деревьев, то шишки могут дать вдвое больше топлива, чем это необходимо всей России. Я разработал поэтому следующий проект: объявить шишку национальным достоянием; мобилизовать все население, главным образом, детей до 12-ти лет и стариков от 60-ти до 70-ти лет, на сбор шишек; раздать им специальные корзины для этой цели; построить недалеко от железнодорожных центров склады, куда будут сносить шишки; каждый мобилизованный будет обязан собирать определенное количество шишек — это будет его трудовая повинность.

Собранные шишки должны были поступить еще и на специальные заводы. Изобретатель продолжал:

— Шишки надо спрессовать раньше, чем отапливать ими печи или паровозы. В России имеется большое количество маслобойных заводов, которые раньше выжимали подсолнечное масло, но теперь, за отсутствием сырья, находятся в бездействии. На эти-то заводы надо везти шишки, там их спрессовать, — и проблема топлива будет разрешена.

В заключении он заявил, что все это не фантазия и что идея эта уже осуществляется на практике через Главный Топливный Комитет, так как сам Ленин заинтересовался ею. Проект в принципе уже одобрен и два миллиона рублей ассигновано на опыты на местах. Но так как теперь надо перейти

к производству в национальном масштабе, то он обращается ко мне для разработки большого плана.

— Владимир Ильич, — прибавил он, — не только одобрил эту идею, но и на практике ею пользуется: вагон шишек был доставлен в Кремль для отапливания печки в кабинете Ленина.

Я отнесся довольно скептически к этому предложению. Так как я имел дело не с экзальтированным военным, а с дантистом Равиковичем, то я спокойно выразил ему свои сомнения, прибавив, однако, что передам дело в Научный Комитет нашего учреждения. Впрочем, я чувствовал, что изобретатель видел во мне беспартийного специалиста, относящегося скептически к талантам революционного деятеля; уходя с недоверием ко мне, он заявил, что дело будет продолжаться независимо от того, какое заключение даст наш Научный Комитет.

Вскоре после того я уехал за границу и вернулся лишь через пять месяцев. О Равиковиче и его шишках я забыл. Но в первый же день после моего возвращения в Москву, меня вызвали на специальное заседание Совета Труда и Оборона, где в порядке дня стоял вопрос о Главшишке. К этому пункту в повестке дня было прибавлено: «Об'яснения Либермана по этому вопросу».

Был морозный московский день. Когда я явился на заседание в кабинет Ленина, я сразу заметил за его спиной небольшую чугунную печку, топившуюся шишками; рядом возвышалась горка прессованных шишек. В комнате было очень тепло. Возле Ленина сидели председатель Главного Топливного Комитета Ксандров, представитель ВЧК, ведавший топливными вопросами; и представители других ведомств. Тут же был и Равикович.

Все присутствующие смотрели на меня многозначительно и выжидающе. Ленин хитро поглядывал в мою сторону. Все были в валенках и теплой одежде, я же, приехав только-что из заграницы, был одет по-европейски. Эта разница в одежде как-то выделяла и изолировала меня от остальных; я почувствовал себя несколько чужим.

Сущность дела сводилась к упрекам против меня. Ведь вот уж пять месяцев как найдена формула для разрешения топливного кризиса. Она была в моих руках, но я делу не дал хода. За это я должен отвечать. Представитель ВЧК торже-

ствующе поглядывал то на меня, то на печку, а Ленин обратился ко мне с вопросом.

— Чем вы, товарищ Либерман, объясните эту халатность и небрежность с вашей стороны?

Я начал излагать причины моего скептического отношения к идее Равиковича. Если бы отопление сосновыми шишками было возможно, то многие страны, испытывающие величайшие трудности из-за отсутствия каменного угля, разрешили бы топливные вопросы очень просто. Вот, например, Швеция, из которой я вернулся за день до того, обладает, огромными сосновыми лесами и могла бы, казалось, разрешить собственными шишками проблему топлива.

Мои доводы не произвели должного впечатления.

Ксандров стал мне возражать, что, мол, буржуазная Европа нам не указ, что мы должны идти вперед собственными путями, и т. д. Ленин потребовал от меня объяснений по существу.

Я указал тогда, что, в то время как большинство хвойных лесов России находятся на севере и в Сибири, маслободно-прессовальные заводы построены в безлесных районах. Необходимо будет возить поезда с шишками на огромные расстояния, и на провоз уйдет от трех до десяти раз больше топлива, чем то, которое получится от шишек. Помимо этого, постройка складов, заготовка корзин для населения, и т. д., потребует огромных расходов и энергии, — больше, чем обычная рубка леса.

Это произвело впечатление на Ленина, который всегда искал здравого смысла. По своему обыкновению, он читал во время заседания какую-то книгу, но все высказываемые соображения доходили до него, он их схватывал, взвешивал и умственно переваривал. По выражению его глаз я понял, что его недоверие ко мне и всяческие подозрения в нерадении — рассеяны. Тем не менее, он тут же продиктовал следующее постановление Совета Труда и Оборонь:

Во-первых, поставить на вид тов. Либерману невнимательное отношение к делу, подлежащему серьезному изучению и осуществлению.

Во-вторых, передать специальной Научной Комиссии этот вопрос, с заслушанием всех доводов тов. Либермана.

Я вернулся к себе домой в подавленном настроении. К

Н о в о с е л ь е

моему удивлению, через час раздался звонок из Кремля. Ленин требовал меня к телефону.

— Товарищ Либерман, я видел, что постановление СТО вас очень огорчило. Но вы ведь мягкотелый интеллигент. Власть всегда права. Продолжайте вашу работу.

Для меня эпопея Главшишки на этом закончилась. А очень скоро заглохла и сама Главшишка...

II.

Изобретатели-«фантазеры» — обычное явление для всех стран, но в Европе им не дают ходу и они заканчивают свою жизнь голодными и озлобленными «непризнанными гениями». В России же они имели доступ чуть ли не к главе государства; он сам их выслушивал, и настаивал перед отдельными комиссарами на том, чтобы им уделяли внимание.

Мало того, на них тратились деньги, ассигновывались средства, а когда на опыте проверялось, что данное изобретение неосуществимо, — оно сдавалось в архив, без всякой критики и без сожаления о затраченных суммах.

Будущий историк несомненно найдет когда-нибудь целое кладбище «гениальных» проектов, которые «отцвели, не успевши расцвести», вместе с упованиями и надеждами.

Но в этой толпе изобретателей, бегавших по всевозможным учреждениям с обтрепанными портфелями, в которых проекты покоились рядом с малоаппетитными бутербродами, попадались люди, прозревавшие будущее.

Среди этих голодных энтузиастов, выстаивавших часами в приемных комиссариатов или гденибудь в холодных, пустых магазинах, с ящиками вместо столов и стульев, я впервые увидел молодого, стройного, со впалыми щеками и горящими глазами, Бажанова, который в то время еще разгуливал в форменной фуражке горного инженера. Он был штейгером в угольной промышленности и яростно доказывал, что в кузнецком угольном районе заложены огромные богатства и что необходимо немедленно начать их разработку. Он всюду носился со своими выкладками, и я встретил его у Ларина, который тоже был любителем многонольных цыфр...

Я также видел его и у Ленина, по возвращении из Кузнецкого бассейна: ему удалось добиться туда командировки. Крупные специалисты с сарказмом высмеивали его и, надо со-

знаться, что в тот момент слова Бажанова, действительно, казались утопией.

Производство Донецкого бассейна тогда пало на 60% по сравнению с 1913 годом. Но и до-революционное производство могло быть увеличено в 10 раз, что и было осуществлено впоследствии.

Когда шахты пустовали и рабочие разбегались в поисках хлеба, казалось диким начать копать уголь в далеком сибирском районе, где сбыт мог быть только для уральской промышленности. К тому же, местной металлургии там не было, а уральские заводы отстояли от Кузнецка на 2000 верст.

Но Бажанов упорно доказывал, что кузнецкий кокс имеет большую калорийную силу, чем даже английский.

В конце концов, Ленин отправил его, в качестве ответственного работника, для разработки этого района.

Теперь утверждают, что создание Урало-Кузнецкого комбината было одним из гениальных предприятий, спасшим Россию в нынешнюю войну, после потери Донецкого бассейна.

Между тем, когда Бажанов являлся на заседания с требованием денег и продовольствия, комиссар с насмешкой разглядывали «прожектера»: — «Опять Бажанов!» — «Когда же ты нас, наконец, отопишь своим кузнецким углем?» говорили они...

Был другой такой энтузиаст, инженер-химик, занимавший маленькое место в одном из кустарных предприятий. Он всюду, вытаскивая кучу книг из своего портфеля, доказывал, что в Европе, а в особенности у немцев, после пережигания древесины в древесный уголь остается масса придаточных продуктов, необходимых России; вся горная промышленность Урала работает на древесном угле, и там побочные продукты, как метиловый спирт, сахар и т. д. — пропадают. И он тут же имел наготове доклады с цифрами, доказывавшими, какое богатство Россия теряет попусту.

Эти доклады пошли к Ленину, постоянно говорившему, что «надо увлечь массу рабочих и крестьян в е л и к о й программой на 10-20 лет». Были созданы целые комбинаты, эти продукты пошли в производство, и для изучения дела была даже отправлена комиссия за границу. Теперь эти продукты играют громадную роль в советской военной промышлен-

ленности, а тогда раздавались голоса о том, что дешевле и проще ввозить их из Европы.

Помнится, как некоторые из этих энтузиастов с мест стали доказывать, что вокруг Архангельска и в других северных районах не только пропадает свыше 30% отходов древесины, но потеря эта удорожает стоимость пиленого леса, и что поэтому желательно построить крупные целлюлозные заводы рядом с лесопильными центрами. Вся эта целлюлоза, которая не могла быть использована в России, могла бы идти на экспорт. Хотя было известно, что в Европе и в Канаде было перепроизводство целлюлозы, и экспортные цены не могли покрыть себестоимости, проект был осуществлен, так как Советское правительство нуждалось в валюте. А теперь заводы эти играют крупную роль в системе индустриализации Советского Союза.

Помнится также, как из Белороссии явилась группа делегатов с двумя специалистами, которые доказывали, что недостойно для России иметь болота у Минска. Они предлагали создать рабочие команды для осушения этого района. Большое впечатление произвела на них осушка Зуйдерзее в Голландии, и они говорили, что если маленькая реакционно-капиталистическая Голландия смогла это сделать, то Россия в с е сможет.

Таким же энтузиастам удалось, вопреки всем торговым расчетам, развить крупную торфяную промышленность под Москвой, а также разработку сланцев в других районах.

Мы, спецы, — «генералы от промышленности» — высмеивали тогда все эти «фантазии». Мы считали, что Петербург, например, всегда будет существовать привозным сырьем, и, что все эти затеи — излишняя расточительность.

Предлагаемые проекты были часто вычитаны из книг, или привезены политическими эмигрантами, вернувшимися из долгого изгнания.

Старая Россия кроилась и перекраивалась, и многие — даже не враги нового режима — с тревогой смотрели на опыты всех этих энтузиастов.

А между тем, ведь вся идея электрофикации, которой так увлекался Ленин (на вопрос: «Что такое социализм?» он отвечал: «Это индустриализация плюс электрофикация») могла

быть осуществлена, главным образом, благодаря перекройке России на новые экономические области.

По этому поводу вспоминаю, как однажды, в салон-вагоне Красина, где находились также Радек и Горький, Красин с насмешкой заговорил об этих «строителях» новой России.

Тогда Горький ответил:

«Русский мужик вырос корявым. Надо его пропустить через машину, сломать его кости, чтобы они как следует крякнули, вправить их правильно, — и тогда Россия станет тем, чем она должна быть».

Для поколения людей среднего возраста вся эта хирургическая операция казалась неприемлемой и мучительной. Но это было, очевидно, то поколение, о котором символически сказано в Библии:

— «Когда избранный народ дошел до обетованной земли, он сорок лет оставался в пустыне, пока не вымерло старое поколение и не выросло новое». —

В то время Россия была об'ята психозом нового строительства, исканием новых формы, и конечно — как это всегда бывает в таких случаях — все старое «хаилось», и «с грязной водой выбрасывали и ребенка». Повсюду заседали научно-технические комиссии и изучали даже вопросы, подобные следующему: «как в безлесных местах России снова развести леса?». Само слово «невозможно» считалось контр-революционным.

Очевидно, в стране таких расстояний, как Россия, где пространство играет столь же решающую роль, как время, — «количество» и «качество» слишком часто заменяют друг друга, а все хозяйственные расчеты людей, умеющих считать, не всегда оказываются правильными. Если хотя бы одна десятая доля того, что тогда затрачивалось, в смысле средств и человеческих усилий, и дала те результаты, свидетелями которых мы являемся сейчас, то можно сказать, что, действительно, Россию «умом не понять, аршином не измерить — и народная революция имеет свои законы и творит свои чудеса.

РУКОПИСИ МАРИУСА ПЕТИПА

Балетмейстер Мариус Петипа не был теоретиком балета. Как реальный творец, он не оставил в наследство трактатов, но зато его записки, так сказать кабинетные работы, по созданию некоторых произведений, для грядущего хореографа Мобурт имеют не меньше значения, чем литературные сочинения Новерра и Блазиса.

Нам не известно, знакома ли с этими записками балетная критика. Бумаги Петипа находятся в Москве, в Литературно-Театральном Музее Российской Академии Наук, имени А. А. Бахрушинна. К сожалению, пока еще Мариус Петипа не нашел своего исследователя, для которого записки эти могли послужить существенным материалом. Тем не менее, мы думаем, что они были приняты во внимание М. И. Чайковским при составлении книги о своем высоком брате Петре Ильиче, неизменном сотруднике балетмейстера.

Эти записки, главным образом, и послужат предметом обсуждения настоящей статьи, в которой мы имеем желание по возможности раскрыть творческий процесс Мариуса Петипа.

Сравнение балетмейстера с каким либо другим руководителем сцены заслуживает особого труда. Балетмейстер сочетает в себе двух художников — режиссера, дающего видимую зрителю трактовку идеи автора, и самого автора, выявляющего задуманное не диалогами, не ремарками, как это делает драматург, а танцами, непосредственно их творя.

Творчество балетмейстера делится на две части и влечет двойственный процесс. Прежде чем приступить к репетициям, указывающим исполнителям их хореографические партии, — необходима сложная и терпеливая кабинетная работа, напоминающая скорее решение задач по геометрии, чем сочинение танцевального действия. Сначала балетмейстер один, без артистов, должен продумать, в сочетании с музыкой, «па». Балетмейстер подобен композитору. Он должен сочинить ряд таких хореографических тем, которые могли бы в зависимости от характера танца и музыкального ритма развиваться,

образовывая целую гамму последовательных движений. После этого, когда темы придуманы и разложены, так сказать, по голосам, распределены по исполнителям, участвующим в танце, — только тогда начинается геометрическая планировка ходов и переходов.

Недаром балетмейстер и теоретик танца 18 века Жан-Жак Новерр, в своих письмах о танце и балете («Lettres sur la danse et le ballet»), которые для балетного искусства, может быть, имеют то же значение, какое для истории драмы имеет «Гамбургская драматургия» Лессинга, — указывает на небесполезность некоторых познаний в геометрии, потому что с помощью их балетмейстер может точнее сообщить расстояние и перспективу, а следовательно соблюдать надлежащую соразмерность группировки исполнителей.

В бумагах Петипа мы находим множество листов с геометрическими рисунками, сделанными его рукой. Здесь круги, пирамиды, эллипсисы, многоугольники, треугольники и т. п. Эти рисунки нам точно указывают на большой творческий процесс балетмейстера вне сцены. Это значит, что художник, уже вдохновленный музыкальными темами танца, сочинил перед зеркалом танцевальные темы, т. е. придумал па, и теперь карандашом сочиняет рисунки хоровых движений. Множество точек, изображающих мужчин, ноликов - женщин, пунктиров, стрелок, — указывают нам направление масс.

Петипа приходило в голову систематизировать свои записки, сделать из них как бы хореографическую партитуру.

Мы находим у него в образцовом порядке планы движений и ходов целого балета «Бабочка, роза и фиалка», сочиненного им на музыку принца Ольденбургского и поставленного на открытом воздухе на ферме того же принца, с исполнителями в главных ролях: М. Петипа (жена балетмейстера), Муравьевой и Мадаевой.

Все рукописи Петипа можно разбить на пять частей. Первая, это — собрание либретто предполагаемых балетов, написанных им самим; вторая — чертежи групп, ходов и движений разных танцев из балетов; третья — исторические справки и выписки из книг; четвертая — калькированные рисунки из иллюстрированных периодических изданий, преимущественно французских; и пятая — самая крупная и значительная для балетного исследователя, — это материалы, относящиеся к созданию «Спящей Красавицы».

Появление на балетной сцене этой композиции связывается со временем работы П. И. Чайковского в Мариинском театре, и поэтому представляет особый интерес.

Не лишним будет также указать, что «Спящая Красавица» сочинена исключительно Мариусом Петипа без всякой помощи Льва Иванова, балетмейстера, часто делившего работы с Петипа. Нужно иметь большое дарование и необычайное интуитивное предвиденье, чтобы уметь так создавать планы постановок, как мы находим их в бумагах этого балетмейстера.

Оказывается, что первые работы по либретто (заимствованного из сказки Перро «Спящая Красавица») были начаты в 1877 году, т. е. ровно за три года до постановки. Рукопись этого времени представляет только эскиз балета, без указания сцен и танцев. Затем идет другая рукопись, более обширная, в которой намечается действие и пролог, и, наконец, третья, разработанная до деталей.

Последняя рукопись датирована 5-м июлем 1889 года и настолько исчерпывающе представляет всю программу балета, что вряд ли будет ошибкой считать ее последней, послужившей Чайковскому канвой для сочинения музыки.

Стоит подробно рассмотреть в эту последнюю редакцию либретто, чтобы удивиться, насколько Петипа мог угадывать будущие танцы, не слыша музыки, проектированной Чайковским.

Петипа для Чайковского составляет сценарий, и в нем указывает не только характер танцев ему желательный, но и точно устанавливает темы, количество тактов и доминирующий инструмент в оркестре. Он пишет:

''Acte I, 9-me tableau. Scene et danse de commerages des tricoteuses, 32 a 48 m. 2/4... Trois tableaux. Farandole 48 a 64 m. Tempo lourd de Mazurka''.

Все танцы этой картины указаны как по темпам, так и по количеству тактов.

Далее, последний акт: «Pas de deux» (Аврора и Дезирэ), — Петипа указывает Чайковскому:

''Entree 6/8, brillant 32 m. Grande adagio largo - forte; Coda 2/4 a grand effet. Apotheose. Musique large, grandiose. Air Henri IV, Apollon en costume de Louis XIV eclairé par le soleil et entouré de fees''.

И так весь балет, каждый самый малозначительный выход, каждый танец указан композитору, как пожелание.

Таким образом, уже из рукописей видно, что существенная работа балетмейстера протекает вне репетиционного зала. Репетиция же, этот второй этап творчества, была приближена им к механическому разучиванию балетных партий.

Перед труппой Петипа ничего не сочинял, он только показывал сочиненное. Вся постановка была у него в голове до мельчайших деталей, и их оставалось только проверить и, может быть, изменить в некоторых случаях.

Особая же заслуга Петипа в репетиционном зале обуславливается умением настолько прочно заложить свое искусство, что в продолжении шестидесяти лет его постановки, подобно легендам, передаются из рода в род, из ног в ноги грядущим поколениям танцовщиков.

Имя этого художника, столь близкое и родное балетному артисту, может быть записанным на одних скрижалях мировой истории балета вместе с именами Новерра, Карло Блазиса, Дидло и других.

И. Г. ЛУРЬЕ

ГАИТИ

Печатаемая ниже статья написана известным журналистом И. Г. Лурье, выпустившим несколько книг по истории и экономике Гаити.

Гаити, это остров, величиною с Баварию (77.000 кв. километров), расположенный между Кубой и Порто Рико. Восточную его часть занимает Доминиканская Республика, западную — негритянская Республика Гаити. По пространству, Доминиканская Республика в два раза больше, чем Республика Гаити, но по населению Республика Гаити в четыре раза плотнее, чем Доминиканская. В Гаити живет 3 миллиона, в Доминиканской Республике всего полтора.

Гаити, — одна из интереснейших стран Нового Света, если не всего мира. Здесь — колыбель европейской цивилизации Нового Света. Гаити — первая страна в Америке, куда импортировали рабов-негров. Этот ввоз начался в 1502 году. Гаити — первая страна в Америке, достигшая уже в 18 веке необычайно экономического благосостояния. Страна, где восстание рабов увенчалось успехом и привело к образованию первого в мире независимого негритянского государства.

Колумб открыл Гаити во время своего первого путешествия.

Личность Колумба до сих пор покрыта мраком. Ученые все еще спорят, испанец ли он или итальянец. Испанский ученый Сальвадор-де-Мадериага приходит к выводу, что Колумб происходит от так называемых маранов (испанских евреев, крестившихся для вида, но соблюдавших втайне еврейский закон). Но каково бы ни было его происхождение, одно несомненно: за двадцать лет своих подготовительных работ он выказал себя очень образованным по тому времени человеком, имевшим задолго до Коперника ясный взгляд на форму земли. Колумб, несомненно, обладал большой эрудицией,

точным мышлением и твердым характером. Но все эти его качества как то рассеялись под влиянием тропического солнца. До конца своей жизни (1506) он был уверен, что открыл острова Восточной Азии, где то между Индией и Японией и был убежден, что Куба — это азиатский материк. На все доводы его спутников что Куба, по всей видимости, остров, он отвечал иронической усмешкой. Высадившись на Кубе, он заставил бывшего с ним нотариуса составить акт о том, что Куба несомненно часть материка. (Довод: таких больших островов не бывает!). И все спутники Колумба должны были подписать этот акт.

Во время одного из своих дальнейших путешествий (Колумб совершил 4 плаванья через Атлантический океан), он пристал к берегам Панамского перешейка и напрасно пытался об'ехать вокруг этого мнимого острова.

Но самую роковую ошибку Колумб совершил, уверив всех своих спутников, что на Гаити много золота. Эта идея, ставшая навязчивой, была основана на дневнике Марко Поло, первого европейца, посетившего в 13 веке Китай и другие страны восточной Азии и описавшего их невероятные богатства.

Колумб считал Гаити одним из японских островов. В песках гаитанских рек еще и теперь попадаются крупинки золота, но больших количеств его там никогда не было. Колумб и его спутники до того поверили в изобилие золота на Гаити, что золотоискательство легло в основу всей колонизации острова. Гаитанские туземцы, так называемые «индиос», мирные, добродушные, очень гостеприимные, были обращены в рабство. Их заставили искать золото. Количество добывавшегося золота оказалось ничтожным. Испанцы решили, что туземцы не хотят показать им, где находятся самые большие залежи и стали жестоко обращаться с ними. В результате, после 10 лет колонизации от 800.000 туземцев осталось всего несколько десятков тысяч. Начался импорт негров из Африки.

В выборе своих сотрудников, будущих колонизаторов, Колумб проявил странную слепоту. Правда, для своего первого путешествия, которое в Испании всеми считалось безумным предприятием, ему пришлось удовольствоваться выпущенными из тюрем преступниками,

Когда же Колумб отправлялся в свое второе плаванье, его окружала слава, и он мог бы выбрать сотрудников более

подходящих, так как желающих было больше, чем могло поместиться на кораблях. Но Колумб не интересовался юдбором своих товарищей. И во второй раз с ним поехали только авантюристы, глупые и жестокие люди, одурманенные мыслью о золоте.

Когда в первой половине 16 века испанцы открыли страны действительно изобиловавшие серебром, золотом и драгоценными камнями (Мексика, Перу и др.), интерес их к Гаити ослабел. Гаити продолжало считаться испанской колонией, но число испанцев на острове было невелико. Они держались восточной части острова, где у них была построена крепость Сан Доминго; остальная часть острова постепенно пустела. С годами остров превратился в центр французских и английских пиратов.

Пиратство существовало и до открытия Нового Света, но никогда не достигало такого расцвета, как в 16 веке, когда ограбление шедших из Америки в Европу с грузом золота и серебра испанских кораблей стало необычайно выгодным. Пиратское дело было нелегким и требовало участия многих людей и больших средств на оборудованье экспедиций. Пираты работали артелями, которые одалживали у капиталистов деньги под высокие проценты. С течением времени образовались специальные акционерные кампании, занимавшиеся снабжением средствами пиратских экспедиций.

Рассказывают, что сама королева Елизавета Английская, известная своей скупостью, вкладывала свои личные деньги в пиратские предприятия.

Пираты избрали западную часть опустевшего острова Гаити своим центром. Остров изобилует естественными, хорошо защищенными гаванями и заливами. И когда в конце 16 века число кораблей с драгоценными грузами уменьшилось, — многие пираты на острове перешли к оседлой жизни. Они разводили табак, охотились за кабанами, коптили их мясо, дубили кожу и обменивали все это на другие товары. Поселения бывших пиратов образовались прежде всего на маленьком островке: Ля Тортю, а потом и по всему побережью Гаити. Испанцы не раз безуспешно пытались прогнать непрошенных гостей. Среди самих пиратов начались ссоры. Французским пиратам удалось выгнать английских, переселившихся на Ямайку и другие лежащие поблизости английские острова. Французские же пираты отделились под покровительство фран-

цузской короны. На рубеже 16 и 17 столетий Франция как раз начала активно заниматься колониальным вопросом и охотно водрузила свой флаг на Гаити. За 17 век Франция колонизировала западную часть острова, формально все еще принадлежавшую Испании. В 1697 г. она получила официальные права на владение островом, называвшимся тогда Сан Доминго.

В 18 столетии Гаити достигло необычайного благосостояния. Французское правительство поощряло ввоз негров и все начинания колонизаторов. Сан Доминго стало богатейшей колонией Франции.

Ее продукты — кофе, тростниковый сахар, какао, ром, красное дерево и др. пользовались большим спросом в Европе. Количество рабов быстро расло. Обращение с ними было очень жестокое. Колонисты представляли из себя неважный элемент, состоявший в большинстве из авантюристов, из дворян, вынужденных вследствие бесчестных поступков покинуть Францию. Но восстания рабов бывали редки и подавлялись с исключительной жестокостью.

В колонии появился и постепенно окреп новый класс людей, получивший решительное влияние на ее судьбу. Это был класс вольноотпущенников, состоявший большей частью из мулатов. Формально такие мулаты были свободными людьми и гражданами Франции. Они имели право потомственного владения землей и рабами, и только не могли носить ту же одежду, что белые, обладать оружием и носить шпагу, что тогда считалось символом человеческого достоинства.

А между тем, эти мулаты были страстными патриотами своего острова. Белые приезжали в колонии с единственной целью скоро разбогатеть. Они презирали колонию, свою собственную деятельность, и только и мечтали накопить как можно скорее достаточно денег и вернуться во Францию.

В 1789 г. на Гаити из 580.000 жителей было свыше 500 тысяч черных рабов, около 40 тысяч белых и столько же мулатов. Важнейший элемент представляли белые помещики, перед которыми заискивали все остальные. Великую Французскую Революцию они встретили враждебно. Предчувствуя ее углубление, они начали интриги с Англией, с целью сделать Гаити английской колонией. Мулаты осмелели и громко заговорили о своих правах. Начались восстания, первое из ко-

торых было подавлено с бесчеловечной жестокостью. Но это не остановило развития событий. Вспыхнула долгая гражданская война. Черные рабы пока молчали, прислушиваясь к борьбе черных и белых рабовладельцев. Французское правительство из Европы, опасаясь интриг белых помещиков и потери колонии, издало декрет о политическом равноправии белых и вольноотпущенников. Но местная администрация медлила с осуществлением этого декрета. В августе 1791 г., с небывалой до этого силой, новое восстание рабов. Нашлись вожди, организовавшие отдельные отряды восставших. Помещичьи усадьбы грабились, дома поджигались, господ убивали. Вся страна была внезапно об'ята пламенем.

Англия и Испания, недружелюбно относившиеся к революционной Франции, начали занимать часть острова. Французская колония очутилась в опасности. Комиссар французского правительства на собственную ответственность, в отчаянии, издал декрет об уничтожении рабства, желая привлечь рабов к защите колонии. Но было уже поздно. Англичане и испанцы, при поддержке белых помещиков, заняли весь остров.

В этот момент появляется новая личность, величайший герой черной расы, Тусэн Лювертюр.

Он родился рабом. До сорока лет был неграмотным. Ему было уже 48 лет, когда вспыхнуло восстание 1791 г., одним из вождей которого он стал. Будучи организатором, он скоро приобрел большое влияние. Разбойничьи банды он превратил в хорошо дисциплинированный отряд, который и передал в распоряжение испанцев. Под их руководством отряд Тусэна стал значительной военной единицей. Тогда Тусэн внезапно переменял свой курс и вместе со своим отрядом перешел на сторону французов, радостно принявших его услуги. Скоро армия Тусэна очистила остров от англичан и испанцев. Ему удалось также подчинить себе отдельные отряды мулатов и объединить всех негров под своим командованием. В благодарность за спасение колонии от оккупации, французское правительство назначило Тусэна главнокомандующим всех французских сил Сан Доминго. С отменой рабства правительство временно примирилось.

Тусэн был не только хорошим полководцем, но и талантливый администратором. Он занялся реформами. Помещичьи земли он поделил между бывшими рабами и следил,

чтобы они хорошо обрабатывались. Он вводил строгие, но справедливые порядки. Фактически власть переходила к местным жителям. Представители метрополии издавали декреты только в соответствии с требованиями Тусэна, ставшего диктатором острова. С противниками Тусэн расправлялся энергично, но без жестокости.

Так продолжалось до прихода Бонапарта к власти. Наполеон не мог снести, что лучшая колония Франции управляется черным генералом. Белые помещики требовали возвращения своих земель и рабов. Наполеон решил послать в Сан Доминго карательную экспедицию.

В 1802 году в Сан Доминго высадились 20 тысяч французских солдат. Армия черного генерала была разбита. Тусэн отправил во Францию, где он вскоре умер.

Но мир длился недолго. Вспыхнуло новое восстание, окончившееся неудачно для французов.

Дэсалин, преемник Тусэна, в январе 1804 г. провозгласил независимость Республики Гаити. Из французского трехцветного знамени он вырвал белую полосу, как символ уничтожения власти белых. Дэсалин объявил себя сначала пожизненным правителем, а затем императором Гаити. Но вскоре он был убит своими же солдатами. Начался период революций, тянувшийся более ста лет.

Самые важные события за это время были: образование королевства Гаити в северной части острова и республики Гаити на южной; объединение их в одну республику; провозглашение империи Гаити (1849 г.). Затем следует ряд восстаний, изменений конституций и т. п.

Население сильно страдало от такой перманентной революции. Бывали периоды, когда какой либо либеральный президент пытался наладить хозяйственную жизнь страны, заботился о просвещении, о развитии торговли и т. п. Но это были лишь отдельные проблески. Гаити оставалось бедной, экономически отсталой страной.

Конфликты с великими державами происходили часто. Гаити, страна освобожденных черных рабов, была бельмом в глазу рабовладельческих наций.

В 1915 году там царил полная анархия. Когда вспыхнула очередная революция, президент (третий за год!) пытался укрыться во французском посольстве. Толпа выгнала его оттуда, растерзала и сожгла труп. Никто не обратил вни-

Новоселье

мания высаживавшийся в это время американский десант. Так началась американская оккупация, длившаяся до 1934 г.

Американцы быстро внесли порядок. Прежде всего они распустили армию и уволили в отставку всех многочисленных генералов. Была образована республика Гаити, правительство которой готово было сотрудничать с оккупационными властями. Население Гаити было сначала глубоко оскорблено оккупацией, но партия сотрудничества постепенно крепла, поняв, что нужно примириться с фактами, чтобы добиться наибольшего блага для страны. Партию эту возглавлял талантливый политик Луи Борно, вскоре избранный президентом Гаити.

Страна вступила на путь прогресса. Американцы стабилизировали валюту, реорганизовали управление, занялись насаждением просвещения, благоустройством страны, развитием сельского хозяйства. Когда в 1934 г. американская оккупация кончилась, Республика Гаити стояла уже на твердом пути развития и использования своих сил и возможностей.

Порт-о-Пренс, Гаити.

Только что вышли из печати

„ЗАПИСКИ МУЗЫКАНТА“

ВЛАД. БАКАЛЕЙНИКОВА

известного русского музыканта, дирижера и композитора

Воспоминания об интересных встречах и эпизодах из недавнего музыкального прошлого России

Цена \$1.25

Заказы адресовать:

Joseph E. Harsky 1123 Richmond St. Pittsburgh, Pa (18)

PRINTON CORPORATION

ROTOGRAVURE PRINTING and COATING

CELLOPHANE — PLIOFILM — ACETATE

GLASSINE — METALLIC PRINTING and COATING

304-10 EAST 23 STREET, NEW YORK

Tel. GRamercy 5-0983

International Book Service

Mrs K. N. ROSEN

P. O. B. 227

CROTON-ON-HUDSON, N. Y.

Книги о России на русском, английском и французском языках
Литература, история литературы, искусство, политика, экономика, история, театр, балет, словари, грамматики.

ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДАННОМУ ЗАДАНИЮ
особенно по творчеству отдельных писателей и художников
Составление библиотек

CASINO RUSSE

157 West 56 Street (Carnegie Hall Bldg)

ОБЕДЫ И УЖИНЫ

НЕТ «COVER CHARGE»

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТАНЦЕВ

AIR ... CONDITIONED

— — МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА — —

ПЕРВОКЛАССНАЯ КУХНЯ

Circle 6-6116 — COlumbus 5-0947

КАФЕ-РЕСТОРАН La Coupole

— AIR CONDITIONED —

121 West 72nd Street ENdicott 2-6740
TRafalgar 4-6844

САМОЕ БОЛЬШОЕ РУССКОЕ КАФЭ

В НЬЮ ЙОРКЕ

— ОБЕДЫ — УЖИНЫ — ХОЛОДНЫЙ БУФЕТ —

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПИРОЖНЫХ И ТОРТОВ

СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Все продукты наил. качества. Прекрасн. обслуживание.

FOR VICTORY BUY
WAR SAVING BONDS AND UNITED STATES STAMPS

'NOVOSSELYE'
A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editorial & Administrative Offices:

S. PREGEL - BREYNER,

2 EAST 86 STREET, N. Y. C.

RHinelander 4-1800

„ Н О В О С Е Л Ь Е “
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

Подписная плата:

В Соединенных Штатах: на один год — \$3.50, на шесть месяцев — \$2.00; в Канаде: на один год — \$4.50, на шесть месяцев — \$2.50.

Цена номера в розничной продаже —
35 центов.

Подписка и объявления принимаются в конторе журнала. Рукописи, посылаемые в редакцию, должны быть переписаны на машинке на одной стороне листа. Непринятые рукописи не возвращаются.

**ЦЕНА НОМЕРА
50 ЦЕНТОВ**

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПОДПИСЧИКОВ

С 1-го сентября сего года новый адрес конторы и редакции

« Н О В О С Е Л Ь Я »:

330 West 72 Street New York 23, N. Y.

 317